



Ч. ДИКЕНСЪ

СВЯТОЧНЫЕ

РАЗСКАЗЫ

Чарльз Диккенс
Сверчок за очагом
Серия «Рождественские повести»

Кудрявцев Г.Г.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=132217

Содержание

Песенка первая	4
Песенка вторая	45
Песенка третья	92

Чарльз Диккенс

СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ

Сказка о семейном счастье

Песенка первая

Начал чайник! И не говорите мне о том, что сказала миссис Пирибингл. Мне лучше знать. Пусть миссис Пирибингл твердит хоть до скончания века, что она не может сказать, кто начал первый, а я скажу, что – чайник. Мне ли не знать! Начал чайник на целых пять минут – по маленьким голландским часам с глянцевитым циферблатом, что стояли в углу, – на целых пять минут раньше, чем застрекотал сверчок.

Да, да, часы уже кончили бить, и маленький косец с косой в руках, судорожно дергающийся вправо и влево на их верхушке перед мавританским дворцом, успел скосить добрый акр воображаемой травы, прежде чем сверчок начал вторить чайнику!

Я вовсе не упрям. Это всем известно. И не будь я убежден в своей правоте, я ни в коем случае не стал бы спорить с миссис Пирибингл. Ни за что не стал бы. Но надо знать, как было дело. А дело было так: чайник начал не меньше чем за пять минут, до того, как сверчок подал признаки жизни. И,

пожалуйста, не спорьте, а то я скажу – за десять!

Позвольте, я объясню, как все произошло. Это давно бы надо сделать, с первых же слов, – но ведь когда о чем-то рассказываешь, полагается начинать с самого начала; а как начать с начала, не начав с чайника?

Дело, видите ли, в том, что чайник и сверчок вздумали устроить своего рода соревнование – посостязаться в искусстве пения. И вот что их к этому побудило и как все произошло.

Под вечер – а вечер был ненастный – миссис Пирибингл вышла из дому и, стуча по мокрым камням деревянными сандалиями, оставлявшими по всему двору бесчисленные следы, похожие на неясный чертеж первой теоремы Эвклида, направилась к кадке и налила из нее воды в чайник. Затем она вернулась в дом, уже без деревянных сандалий (при этом она намного уменьшилась в росте, потому что сандалии были высокие, а миссис Пирибингл маленькая), и поставила чайник на огонь. Тут она потеряла душевное равновесие или, может быть, только засунула его куда-то на минутку, потому что вода была ужас какая холодная и находилась в том скользком, слизистом, слякотном состоянии, когда она как будто приобретает способность просачиваться решительно всюду, и даже за металлические кольца деревянных сандалий; так вот, значит, вода замочила ножки миссис Пирибингл и даже забрызгала ей икры. А если мы гордимся, и не без оснований, нашими ножками и любим, чтобы чу-

лочки у нас всегда были чистенькие и опрятные, то перенести такое огорчение нам очень трудно.

А тут еще чайник упрямылся и кобенился. Он не давал повесить себя на верхнюю перекладину; он и слышать не хотел о том, чтобы послушно усесться на груде угольков; он все время клевал носом, как пьяный, и заливал очаг, ну прямо болван, а не чайник! Он брюзжал, и шипел, и сердито плевал в огонь. В довершение всего и крышка, увильнув от пальчиков миссис Пирибингл, сначала перевернулась, а потом с удивительным упорством, достойным лучшего применения, боком нырнула в воду и ушла на самое дно чайника. Даже корпус корабля «Ройал Джордж»¹ и тот сопротивлялся не так отчаянно, когда его тащили из воды, как упиралась крышка этого чайника, когда миссис Пирибингл вытаскивала ее наверх.

А чайник по-прежнему злился и упрямылся; он вызывающе подбоченился ручкой и с дерзкой насмешкой задрал носик на миссис Пирибингл, как бы говоря: «А я не закиплю! Ни за что не закиплю!»

Но миссис Пирибингл к тому времени уже снова повеселела, смахнула золу со своих пухленьких ручек, похлопав их одной о другую, и, рассмеявшись, уселась против чайника. Между тем веселое пламя так вскидывалось и опадало, вспыхивая и заливая светом маленького косца на верхушке

¹ «Ройал Джордж» – английский военный корабль, затонувший на рейде Спитхед в 1782 году.

голландских часов, что чудилось, будто он стоит как вкопанный перед мавританским дворцом, да и все вокруг недвижно, кроме пламени.

Тем не менее косец двигался, – его сводило судорогой дважды в секунду, точно и неуклонно. Когда же часы собрались бить, тут на страдания его стало прямо-таки страшно смотреть, а когда кукушка выглянула из-за дверцы, ведущей во дворец, и прокуковала шесть раз, он так содрогался при каждом «ку-ку!», словно слышал некий загробный голос или словно что-то острое кололо ему икры.

Перепуганный косец пришел в себя только тогда, когда часы перестали трястись под ним, а скрежет и лязг их цепей и гирь окончательно прекратился. Немудрено, что он так разволновался: ведь эти дребезжащие, костлявые часы – не часы, а сущий скелет! – способны на кого угодно нагнать страху, когда начнут щелкать костями, и я не понимаю, как это людям, а в особенности голландцам, пришла охота изобрести такие часы. Говорят, что голландцы любят облекать свои нижние конечности в просторные «футляры», для которых не жалеют ткани, значит им безусловно не следовало бы оставлять свои часы столь неприкрытыми и незащищенными.

Тогда-то, заметьте себе, чайник и решил приятно провести вечерок. Тогда-то и выяснилось, что чайник немножко навеселе и ему захотелось блеснуть своими музыкальными талантами; что-то неудержимо заклокотало у него в горле,

и он уже начал издавать отрывистое звонкое фырканье, которое тотчас обрывал, словно еще не решив окончательно, стоит ли ему сейчас показать себя компанейским малым. Тогда-то, после двух-трех тщетных попыток заглушить в себе стремление к общительности, он отбросил всю свою угрюмость, всю свою сдержанность и залился такой уютной, такой веселой песенкой, что никакой плакса-соловей не мог бы за ним угнаться.

И такой простой песенкой! Да вы поняли бы ее не хуже, чем любую книжку – быть может, даже лучше, чем кое-какие известные нам с вами книги. Теплое его дыхание вырывалось легким облачком, весело и грациозно поднималось на несколько футов вверх и плавало там, под сводом очага, словно по своим родным, домашним небесам, и чайник пел свою песенку так весело и бодро, что все его железное тельце гудело и подпрыгивало над огнем; и даже сама крышка, эта недавняя бунтовщица-крышка – вот как влияют хорошие примеры! – стала выплясывать что-то вроде жиги и стучать по чайнику, словно юная и неопытная тарелочка, не уразумевшая еще, для чего существует в оркестре ее собственный близнец.

То, что песня чайника была песней призыва и приветия, обращенной к кому-то, кто ушел из дому и кто сейчас возвращался в свой уютный маленький домик к потрескивающему огоньку, в этом нет никакого сомнения. Миссис Пирибингл знала это, отлично знала, когда сидела в задумчивости

у очага.

Нынче ночь темна, пел чайник, на дороге груды прелого листа, и внизу – только грязь и глина, а сверху – туман и темнота; во влажной и унылой мгле одно лишь светлое пятно, но это отблески зари – обманчиво оно; небеса алеют в гневе; это солнце с ветром вместе там клеймо на тучках выжгли, на виновницах ненастья; длинной черной пеленою убегают вдаль поля, вехи инеем покрылись, но оттаяла земля; лед не лед, с водой он смешан, и вода и лед – одно; все вокруг преобразилось, все не то, чем быть должно; но едет, едет, едет он!

Вот тут-то, если хотите, сверчок и вправду начал вторить чайнику! Он так громко подхватил припев на свой собственный стрекочущий лад – стрек, стрек, стрек! – голос его был столь поразительно несоразмерен с его ростом по сравнению с чайником (какой там рост! вы даже не могли бы разглядеть этого сверчка!), что если бы он тут же разорвался, как ружье, в которое заложен чересчур большой заряд, если бы он погиб на этом самом месте, дострекотавшись до того, что тельце его разлетелось бы на сотню кусочков, это показалось бы вам естественным и неизбежным концом, к которому он сам изо всех сил стремился.

Чайнику больше уже не пришлось петь соло. Он продолжал исполнять свою партию с неослабным рвением, но сверчок захватил роль первой скрипки и удержал ее. Боже ты мой, как он стрекотал! Тонкий, резкий, пронзительный голосок его звенел по всему дому и, наверное, даже мерцал, как

звезда во мраке, за стенами. Иногда на самых громких звуках он пускал вдруг такую неопишную трель, что невольно казалось – сам он высоко подпрыгивает в порыве вдохновения, а затем снова падает на ножки. Тем не менее они пели в полном согласии, и сверчок и чайник. Тема песенки оставалась все та же, и соревнуясь, они распевали все громче, и громче, и громче.

Прелестная маленькая слушательница (она действительно была прелестная и молоденькая, хоть и похожая на пышку, но это, на мой вкус, не беда), прелестная маленькая слушательница зажгла свечку, бросила взгляд на косца, успевшего скосить целую копну минут на верхушке часов, и стала смотреть в окно, но ничего не увидела в темноте, кроме своего личика, отраженного в стекле. Впрочем, по-моему (да и по-вашему, будь вы на моем месте), сколько бы она ни смотрела, она не увидела бы ничего более приятного. Когда она вернулась и села на прежнее место, сверчок и чайник все еще продолжали петь, неистово состязаясь друг с другом. У чайника, по-видимому, была одна слабость: он ни за что не желал признать себя побежденным.

Оба они были взволнованы, как на гонках. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок вырвался на целую милю вперед. Гу, гу, гу-у-у! – Отставший чайник гудит вдали, как большой волчок. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок завернул за угол. Гу, гу, гу-у-у! – Чайник гонится за ним по пятам, он и не думает сдаваться. Стрек, стрек, стрек! – Сверчок бодр, как никогда.

Гу, гу, гу-у-у! – Чайник медлителен, но упорен. Стрек! стрек, стрек! – Сверчок вот-вот обгонит его. Гу, гу, гу-у-у! – Чайника не обгонишь.

Наконец они совсем запутались в суматохе и суете состязания, и понадобилась бы голова более ясная, чем моя или ваша, чтобы разобраться, чайник ли это стрекотал, а сверчок гудел, или стрекотал сверчок, а гудел чайник, или они оба вместе стрекотали и гудели. Но в одном усомниться нельзя: и чайник и сверчок как бы слили воедино каким-то лишь им известным способом свои уютные домашние песенки и оба вместе послали их вдаль на луче свечи, проникавшем через окно на дорогу. И свет этот упал на человека, который в то время направлялся к нему в темноте, и буквально во мгновение ока объяснил ему все, воскликнув: «Добро пожаловать домой, старина! Добро пожаловать домой, дружок!»

Добившись этого, чайник изнемог и сложил оружие – он вскипел, проливая воду через край, и его сняли с огня. Миссис Пирибингл побежала к дверям, и тут поднялась немыслимая суматоха: застучали колеса повозки, раздался топот копыт, послышался мужской голос, взволнованный пес заметался взад и вперед, и откуда-то таинственным образом появился младенец.

Откуда он взялся, когда успела миссис Пирибингл его подхватить, я не знаю. Но – так или иначе, а на руках у миссис Пирибингл был младенец, и она смотрела на него с немалой гордостью, когда ее нежно вел к очагу крепкий человек го-

раздо старше ее и гораздо выше ростом – настолько выше, что ему пришлось нагнуться, чтобы ее поцеловать. Но она стоила такого труда. Любой верзила, будь он даже шести футов и шести дюймов ростом и вдобавок страдай прострелом, охотно бы нагнулся.

– Боже мой! – воскликнула миссис Пирибингл. – Джон! В каком ты виде! Ну и погода!

Нельзя отрицать – погода худо обошлась с Джоном. Густой иней опушил его ресницы, превратив их в ледяные сосульки, и огонь, отражаясь в каплях влаги, зажег маленькие радуги в его бакенбардах.

– Видишь ли, Крошка, – не сразу отозвался Джон, разматывая свой шарф и грея руки перед огнем, – погода стоит не... не совсем летняя. Значит, удивляться нечему.

– Пожалуйста, Джон, не называй меня Крошкой. Мне это не нравится, – сказала миссис Пирибингл, надувая губки; однако по всему было видно, что это прозвище ей нравится, и даже очень.

– А кто же ты, как не Крошка? – возразил Джон, с улыбкой глядя на нее сверху вниз и легонько, насколько это было возможно для его могучей руки, обнимая жену за талию. – Ты крошка и, – тут он взглянул на младенца, – ты крошка и держишь... нет, не скажу, все равно ничего не выйдет... – но я чуть было не сострил. Прямо-таки совсем собрался состричь!

По его словам, он частенько собирался сказать что-нибудь

очень умное, этот неповоротливый, медлительный честный Джон, этот Джон, такой тяжеловесный, но одаренный таким легким характером; такой грубый с виду и такой мягкий в душе; такой, казалось бы, непонятливый, а на самом деле такой чуткий; такой флегматичный, но зато такой добрый! О Мать Природа! Когда ты одариваешь своих детей той истинной поэзией сердца, какая таилась в груди этого бедного возчика, – кстати сказать, Джон был простым возчиком, – мы миримся с тем, что они говорят на прозаические темы и ведут прозаическую жизнь, и благословляем тебя за общение с ними!

Приятно было видеть Крошку, такую маленькую, с ребенком, словно с куклой, на руках, когда она в кокетливой задумчивости смотрела на огонь, склонив хорошенькую головку набок ровно настолько, чтобы эта головка естественно и вместе с тем чуть-чуть жеманно, но уютно и мило прислонилась к широкому плечу возчика. Приятно было видеть Джона, когда он с неуклюжей нежностью старался поддерживать свою легкую как перышко жену так, чтобы ей было поудобней, и его крепкая зрелость была надежной опорой ее цветущей молодости. Приятно было наблюдать за Тилли Слоубой, когда она, стоя поодаль, дожидалась, пока ей передадут ребенка, и, с глубочайшим вниманием, хотя ей было всего лет двенадцать – тринадцать, созерцала семейную группу, широко раскрыв рот и глаза, вытянув шею и словно вдыхая, как воздух, все, что видела. Не менее приятно было видеть, как

возчик Джон после одного замечания, сделанного Крошкой насчет упомянутого младенца, хотел было его потрогать, но тотчас отдернул руку, как бы опасаясь раздавить его, и, нагнувшись, стал любоваться сыном с безопасного расстояния, преисполненный той недоуменной гордости, с какой добродушный огромный дог, вероятно, разглядывал бы маленькую канарейку, если бы вдруг узнал, что он ее отец.

– До чего он хорошенький, Джон, правда? До чего миленький, когда спит!

– Очень миленький, – сказал Джон, – очень! Он ведь постоянно спит, да?

– Что ты, Джон! Конечно, нет!

– Вот как! – проговорил Джон в раздумье. – А мне казалось, что глазки у него всегда закрыты... Эй! Смотри!

– Да ну тебя, Джон! Разве можно так пугать!

– Видишь, как он закатывает глазки, а? – удивленно проговорил возчик. – Что это с ним? Он не болен? Смотри, как моргает обоими зараз! А на ротик-то погляди! Разевает ротик, словно золотая или серебряная рыбка!

– Недостоин ты быть отцом, недостоин! – с важностью сказала Крошка тоном опытной мамыши. – Ну, как тебе знать, чем хворают дети, Джон! Ты даже не знаешь, как называются их болезни, глупый! – И, перевернув ребенка, лежавшего у него на левой руке, она похлопала его по спинке, чтобы подбодрить, рассмеялась и ущипнула мужа за ухо.

– Правильно! – согласился Джон, стаскивая с себя паль-

то. – Твоя правда, Крошка. Насчет этого я почти ничего не знаю. Знаю только, что нынче мне здорово досталось от ветра. Всю дорогу до дому он дул с северо-востока, прямо мне в повозку.

– Бедняжка ты мой, ветер и правда сильный! – вскричала миссис Пирибингл и тотчас засуетилась. – Эй, Тилли, возьми нашего дорогого малыша, а я пока займусь делом. Миленький! Так бы и зацеловала его. Право! Уйди, песик! Уйди, Боксер, не приставай... Дай мне только сначала приготовить чай, Джон, а потом я помогу тебе с посылками не хуже хлопотливой пчелки. «Как маленькая пчелка...» и так далее, помнишь, Джон, эту песенку? А ты выучил на память «Маленькую пчелку», когда ходил в школу, Джон?

– Не совсем, – ответил Джон. – Как-то раз я ее чуть было не выучил. Но у меня, конечно, все равно ничего бы не вышло.

– Ха-ха-ха! – засмеялась Крошка. Смех у нее был очень веселый; вы такого никогда и не слыхивали. – Какой ты у меня миленький, славный дурачок!

Ничуть не оспаривая этого утверждения, Джон вышел из дому последить за тем, чтобы мальчик, метавшийся с фонарем в руках, как блуждающий огонек, перед окном и дверью, получше позаботился о лошади, которая была так толста, что вы не поверите, если я покажу вам ее мерку, и так стара, что день ее рождения затерялся во тьме веков. Боксер, чувствуя, что он должен оказать внимание всей семье в целом и бес-

пристрастно распределить его между всеми ее членами, то врывался в дом, то выбегал на двор с удивительным непостоянством. Отрывисто лая, он то носился вокруг лошади, которую чистили у входа в конюшню; то как дикий бросался на свою хозяйку, но вдруг останавливался, показывая, что это только шутка, то неожиданно тыкался влажным носом в лицо Тилли Слоубой, сидевшей в низком кресле-качалке у огня, так что девочка даже взвизгивала от испуга; то назойливо интересовался младенцем; то, покружив перед очагом, укладывался с таким видом, точно решил устроиться тут на всю ночь; то снова вскакивал и, задрвав крохотный обрубок хвоста, вылетал наружу, словно вдруг вспомнив, что у него назначено свидание и надо бежать во весь дух, чтобы попасть вовремя!

– Ну вот! Вот и чайник готов! – сказала Крошка, суетясь, как девочка, играющая в домашнюю хозяйку. – Вот холодная ветчина, вот масло; вот хлеб с поджаристой корочкой и все прочее! Если ты привез маленькие посылки, Джон, вот тебе для них бельевая корзина... Где ты, Джон? Тилли, осторожно! Ты уронишь нашего дорогого малютку в огонь!

Следует заметить, что хотя мисс Слоубой с жаром отвергла это предположение, она отличалась редкой и удивительной способностью навлекать на малыша разные беды и со свойственным ей невозмутимым спокойствием не раз подвергала опасности его молодую жизнь. Она была такая тощая и прямая, эта молодая девица, что платье висело на ее

плечах как на вешалке и постоянно грозило с них соскользнуть. Костюм ее был замечателен тем, что из-под него неизменно торчало некое фланелевое одеяние странного покроя, а в прореху на спине виднелся корсет или какая-то шнуровка тускло-зеленого цвета. Мисс Слоубой вечно ходила с разинутым ртом, восхищаясь всем на свете, и, кроме того, была постоянно поглощена восторженным созерцанием совершенств своей хозяйки и ее малыша, так что, если она и ошибалась порой в своих суждениях, то эти промахи делали честь в равной мере и сердцу ее и голове; и хотя это не приносило пользы головке ребенка, которая то и дело стучалась о двери, комоды, лестничные перила, столбики кроватей и другие чуждые ей предметы, все же промахи Тилли Слоубой были только закономерным последствием ее непрерывного изумления при мысли о том, что с нею так хорошо обращаются и что она живет в таком уютном доме. Надо сказать, что о мамаше и папаше Слоубой не имелось никаких сведений, и Тилли воспитывалась на средства общественной благотворительности как подкидыш, а это слово сильно отличается от слова «любимчик» и по своим звукам и по значению.

Если бы вы только видели маленькую миссис Пирибингл, когда она возвращалась в дом вместе с мужем, держась за ручку бельевой корзины и всеми силами показывая, что помогает ее тащить (хотя корзину нес муж), это позабавило бы вас почти так же, как забавляло его. Пожалуй, это понравилось даже сверчку, – так мне по крайней мере кажется; во

всяком случае, он снова начал стрекотать с большим рвением.

– Ну и ну! – проговорил Джон, по обыкновению растягивая слова. – Нынче вечером он развеселился, как никогда.

– И он обязательно принесет нам счастье, Джон! Так всегда бывало. Когда за очагом заведется сверчок, это самая хорошая примета!

Джон взглянул на нее с таким видом, словно чуть было не подумал, что она сама для него сверчок, который приносит ему счастье, и потому он вполне с нею согласен. Но, очевидно, у него, по обыкновению, ничего не получилось, ибо он так ничего и не сказал.

– В первый раз я услышала его веселую песенку в тот вечер, когда ты, Джон, привел меня сюда в мой новый дом, как хозяйку. Почти год назад. Помнишь, Джон?

О да! Джон помнит. Еще бы не помнить!

– Он стрекотал, словно приветствуя меня своей песенкой! Мне казалось, что он обещает мне так много хорошего, и мне стало так легко на душе. Он словно говорил, что ты будешь добрым и ласковым со мной и не станешь требовать (я тогда очень боялась этого, Джон), чтобы на плечах твоей глупенькой маленькой женушки сидела голова мудрой старухи.

Джон задумчиво потрепал ее по плечу, потом погладил по головке, как бы желая сказать: «Нет, нет! Этого я не требую, и плечи и головка очень нравятся мне такими, какие они есть». И немудрено! Они были очень милы.

– И сверчок говорил правду, Джон, потому что ты самый лучший, самый внимательный, самый любящий из всех мужей на свете. Наш дом – счастливый дом, Джон, и потому я так люблю сверчка!

– Да и я тоже, – сказал возчик. – И я тоже, Крошка.

– Я люблю его за то, что слушала его столько раз, и за все те мысли, что посещали меня под его безобидную песенку. Иной раз, в сумерки, когда я сидела тут одна, мне становилось так грустно, Джон, – это было еще до рождения малыша, ведь малыш, тот всегда развлекает меня и веселит весь дом, – но когда я думала о том, как ты будешь грустить, если я умру, и как грустно мне будет. Знать, что ты потерял меня, дорогой, сверчок все стрекотал, стрекотал и стрекотал за очагом, и мне казалось, будто я уже слышу другой голосок, такой нежный, такой милый, и в ожидании его печаль моя проходила как сон. А когда меня охватывал страх – вначале это бывало, я ведь была еще так молода, Джон, – когда я начинала бояться, что брак наш окажется неудачным, оттого что мы не подойдем друг другу – ведь я была совсем ребенком, а ты годился мне скорей в опекуны, чем в мужа, – и что ты, сколько ни старайся, пожалуй, не сможешь полюбить меня так, как надеялся и желал, стрекотанье его опять подбодряло меня, и я снова начинала верить и радоваться. Я думала обо всем этом сегодня вечером, милый, когда сидела здесь и ждала тебя, и я люблю нашего сверчка за эти мысли!

– И я тоже, – сказал Джон. – Но что это значит, Крошка?

Ты сказала, будто я надеюсь и хочу полюбить тебя? И что ты только болтаешь! Я полюбил тебя, Крошка, задолго до того, как привел сюда, чтобы ты стала хозяйюшкой сверчка!

Она на миг взяла его за руку и, волнуясь, взглянула на него снизу вверх, словно хотела что-то сказать ему. Но спустя мгновение очутилась на коленях перед корзиной и, оживленно лепеча, занялась посылками.

– Сегодня их не очень много, Джон, но я только что видела в повозке разные товары; правда, с ними больше хлопот, но возить их так же выгодно, как и мелочь; значит, нам не на что роптать, ведь так? Кроме того, ты по пути, наверное, раздавал посылки?

– Еще бы! – сказал Джон. – Целую кучу роздал.

– А что там такое в круглой коробке? Ай-ай-ай, Джон, да ведь это свадебный пирог!

– Догадалась! Ну, да на то ты и женщина, – сказал Джон в восхищении. – Мужчине это и в голову не пришло бы. – Попробуй запрятать свадебный пирог хоть в шкатулку для чая, или в складную кровать, или в бочонок из-под маринованной лосошины, или вообще в самое неподходящее место, и бьюсь об заклад, что женщина непременно найдет его сию же минуту! Да, это пирог; я за ним заезжал в кондитерскую.

– А тяжелый-то какой... фунтов сто весит! – воскликнула Крошка, притворяясь, что у нее не хватает сил поднять коробку. – От кого это, Джон? Кому его посылают?

– Прочитай надпись на той стороне, – ответил Джон.

– Ох, Джон! Как же это, Джон?

– Да! Кто бы мог подумать! – откликнулся Джон.

– Так, значит, – продолжала Крошка, сидя на полу и качая головой, – это Грубб и Теклтон, фабрикант игрушек!

Джон кивнул.

Миссис Пирибингл тоже кивнула – раз сто, не меньше, – но не одобрительно, а с видом безмолвного и жалостливого удивления; при этом она изо всех своих силенок поджала губки (а они не для того были созданы, в этом я уверен) и рассеянно словно в пространство смотрела на доброго возчика. Между тем мисс Слоубой, одаренная способностью машинально воспроизводить для забавы малыша обрывки любого услышанного ею разговора, лишая их при этом всякого смысла и употребляя все имена существительные во множественном числе, громко вопрошала своего юного питомца, действительна ли это Груббы и Теклтоны, фабриканты игрушек, и не заедут ли малыши в кондитерские за свадебными пирогами и догадываются ли мамы о том, что находится в коробках, когда папы привозят их домой, и так далее.

– Значит, это все-таки будет! – промолвила Крошка – ... Да ведь мы с нею еще девчонками вместе в школу ходили, Джон!

Быть может, он в эту минуту вспоминал ее или собирался вспомнить такой, какой она была в свои школьные годы. Он смотрел на нее задумчиво и радостно, но не отвечал ни слова.

– И он такой старый! Так не подходит к ней!.. Слушай, на сколько лет он старше тебя, Джон, этот Грубб и Теклтон?

– Скажи лучше, на сколько чашек чаю больше я выпью сегодня за один присест, чем Грубб и Теклтон одолеет за четыре! – добродушно отозвался Джон, придвинув стул к круглому столу и принимаясь за ветчину. – Что касается еды, то ем я мало, Крошка, но хоть и мало, зато с удовольствием.

Но даже эти слова, которые он неизменно повторял за едою, невольно обманывая сам себя (ибо аппетит у него был на славу и начисто опровергал их), даже эти слова не вызвали улыбки на лице его маленькой жены, – Крошка недвижно стояла среди посылок, тихонько отпихивая от себя ногой коробку со свадебным пирогом, и хотя глаза ее были опущены, ни разу даже не взглянула на свой изящный башмачок, который обычно так привлекал ее внимание. Погруженная в свои мысли, она стояла, позабыв и о чае и о Джоне (хотя он позвал ее и даже постучал ножом по столу, чтобы привлечь ее внимание), так что ему, наконец, пришлось встать и положить руку ей на плечо, – только тогда она бросила на него быстрый взгляд и поспешила занять свое место за чайным столом, смеясь над своей рассеянностью. Но не так, как смеялась всегда. И звук и тон ее смеха – все было теперь совсем иным!

Сверчок тоже замолчал. В комнате стало что-то не так весело, как было. Совсем не так.

– Значит, все посылки тут, правда, Джон? – спросила

Крошка, прерывая долгое молчание, во время которого честный возчик наглядно доказывал правильность по крайней мере второй части своего любимого изречения, ибо ел он с большим удовольствием, хотя отнюдь не мало. – Значит, все посылки тут, правда, Джон?

– Все тут, – сказал Джон. – Только... нет... я... – Он положил на стол нож и вилку и глубоко вздохнул. – Я хочу сказать... я совсем позабыл про старого джентльмена!

– Про какого джентльмена?

– В повозке, – ответил Джон. – В последний раз, что я его видел, он спал там на соломе. Я чуть не вспомнил о нем два раза, с тех пор как вошел сюда; но он снова выскочил у меня из головы. Эй? вы! Вставайте! Ах ты грех какой!

– Последние слова Джон выкрикнул уже во дворе, куда поспешил со свечой в руках.

Мисс Слоубой, слышав какие-то таинственные упоминания о «старом джентльмене» и связав с ними в своем озадаченном воображении некоторые представления суеверного характера², пришла в полное замешательство и, поспешно вскочив с низкого кресла у очага, бросилась искать убежища за юбками своей хозяйки, но, столкнувшись у двери с каким-то престарелым незнакомцем, инстинктивно обратила против него единственное наступательное оружие, которое было у нее под рукой. Таковым оружием оказался младенец,

² ...некоторые представления суеверного характера... – «Старым джентльменом» в Англии называют черта.

вследствие чего немедленно поднялся великий шум и крик, а пронизательность Боксера только усилила общий переполох, ибо этот усердный пес, более заботливый, чем его хозяин, как выяснилось, все время сторожил спящего старика, – боясь, как бы тот не удрал, захватив с собой два-три тополе-вых саженца, привязанных к задку повозки, – и теперь счел долгом уделить ему особое внимание, хватая его за гетры и стараясь оторвать от них пуговицы.

– Вы, сэр, как видно, мастер спать, – сказал Джон, когда спокойствие восстановилось, обращаясь к старику, который недвижно стоял с непокрытой головой посреди комнаты, – так что я даже чуть было не спросил вас: «А где остальные шестеро?»³ – но это значило бы сострить и уж конечно у меня бы все равно ничего путного не вышло. Но я уже совсем было собрался спросить вас об этом, – пробормотал возчик, посмеиваясь, – чуть было не спросил!

Незнакомец, у которого волосы были длинные и белые, черты лица красивые и какие-то слишком четкие для старика, а глаза темные, блестящие и пронизательные, с улыбкой оглянулся кругом и, степенно поклонившись, поздоровался с женой возчика.

Одет он был очень своеобразно и странно – слишком уж старомодно. Все на старике было коричневое. В руке он дер-

³ «А где остальные шестеро?» – намек на легенду о семи юношах – христианах, бежавших из Эфеса от преследований императора Деция и проспавших 230 лет в горной пещере.

жал толстую коричневую палку или дубинку, и, когда ударил ею об пол, она раскрылась и оказалась складным стулом. Незнакомец невозмутимо сел на него.

– Вот, пожалуйста! – сказал возчик, обращаясь к жене. – Так вот он и сидел на обочине, когда я его увидел! Прямой как придорожный столб. И почти такой же глухой.

– Так и сидел, под открытым небом, Джон?

– Под открытым небом, – подтвердил возчик, – а уже стемнело. «Плачу за проезд», сказал он и протянул мне восемнадцать пенсов. Потом влез в повозку. И вот он здесь.

– Он, кажется, хочет уходить, Джон!

Вовсе нет. Старик только хотел сказать что-то.

– Если позволите, я побуду здесь, пока за мной не придут, – мягко проговорил незнакомец. – Не обращайтесь на меня внимания.

Сказав это он из одного своего широкого кармана извлек очки, из другого книгу и спокойно принялся за чтение. На Боксера он обращал не больше внимания, чем на ручного ягненка!

Возчик с женой удивленно переглянулись. Незнакомец поднял голову и, переведя глаза с хозяина на хозяйку, проговорил:

– Ваша дочь, любезный?

– Жена, – ответил Джон.

– Племянница? – переспросил незнакомец.

– Жена! – проревел Джон.

– В самом деле? – заметил незнакомец. – Неужели правда?

Очень уж она молоденькая!

Он спокойно отвернулся и снова начал читать. Но не прочел и двух строчек, как опять оторвался от книги и спросил:

– Ребенок ваш?

Джон кивнул столь внушительно, что внушительней и быть не могло, даже крикни он утвердительный ответ в переговорную трубу.

– Девочка?

– Ма-а-альчик! – проревел Джон.

– Тоже очень молоденький, а?

Миссис Пирибингл тотчас же вмешалась в разговор:

– Два месяца и три дня-а! Прививали оспу шесть недель тому наза-ад! Принялась очень хорошо-о! Доктор считает замечательно красивым ребе-онком! Не уступит любому пятиме-есячному! Все понимает, прямо на удивленье! Не поверите, уже хватает себя за но-ожки!

Маленькая мамаша так громко выкрикивала эти короткие фразы ему на ухо, что хорошенькое личико ее покраснелось, и, совсем запыхавшись, ока поднесла ребенка к гостю в качестве неопровержимого и торжественного доказательства, в то время как Тилли Слоубой, издавая какие-то непонятные звуки, вроде чиханья, прыгала, как телка, вокруг этого невинного, ни о чем не ведающего существа.

– Слушайте! Наверное, это пришли за ним, – сказал Джон. – Кто-то идет к нам. Открой, Тилли!

Однако, прежде чем Тилли добралась до двери, кто-то уже открыл ее снаружи, так как это была самая простая дверь со щеколдой, которую каждый мог поднять, если хотел, а хотели этого очень многие, потому что все соседи были охотники перемолвиться добрым словом с возчиком, хоть сам он и был неразговорчив. Когда дверь открылась, в комнату вошел маленький, тощий человек с землистым лицом; он был в пальто, сшитом, очевидно, из холщовой pokrышки какого-то старого ящика: когда он обернулся и закрыл дверь, чтобы холод не проник в комнату, оказалось, что на спине у него черной краской начерчены огромные заглавные буквы «Г» и «Т», а кроме того написано крупным почерком слово: СТЕКЛО.

– Добрый вечер, Джон! – сказал маленький человек. – Добрый вечер, сударыня! Добрый вечер, Тилли! Добрый вечер, господин, не знаю, как вас звать! Как поживает малыш, сударыня? Надеюсь, Боксер здоров?

– Все в добром здоровье, Калев, – ответила Крошка. – Да стоит вам только взглянуть хотя бы на малыша, и вы сами это увидите.

– А по-моему, стоит только взглянуть на вас, – сказал Калев.

Однако он не взглянул на нее; что бы он ни говорил, его блуждающий озабоченный взгляд, казалось, вечно устремлялся куда-то в другое пространство и время, и то же самое можно было сказать о его голосе.

– Или взглянуть хотя бы на Джона, – сказал Калев. – Либо

на Тилли, коли на то пошло. И уж конечно на Боксера.

– Много работаете теперь, Калэб? – спросил возчик.

– Порядочно, Джон, – ответил тот с рассеянным видом, как человек, который ищет что-то весьма важное, по меньшей мере – философский камень. – И даже очень порядочно. Теперь пошла мода на ноевы ковчеги. Мне очень хотелось бы усовершенствовать детей Ноя, но не знаю, как это сделать за ту же цену. Приятно было бы смастерить их так, чтобы можно было отличить, кто из них Сим, кто Хам, а кто их жены. Вот и мухи, надо сознаться, выходят совсем не того размера, какой нужен по сравнению со слонами. Ну, ладно! Нет ли у вас для меня посылки, Джон?

Возчик пошарил рукой в кармане пальто, которое снял, придя домой, и вынул крошечный горшок с цветком, тщательно обернутый мхом и бумагой.

– Вот! – сказал он, очень осторожно расправляя цветок. – Ни один листочек не попорчен. Весь в бутонах!

Тусклые глаза Калэба заблестели. Он взял цветок и поблагодарил возчика.

– Дорого обошелся, Калэб, – сказал возчик. – В это время года цветы очень уж дороги.

– Ничего. Для меня он дешев, сколько бы ни стоил, – отозвался маленький человек. – А еще что-нибудь есть, Джон?

– Небольшой ящик, – ответил возчик. – Вот он.

– «Для Калэба Пламмера», – проговорил маленький человек, читая адрес по складам. – «Денежное». Денежное,

Джон? Это, наверное, не мне.

– «Бережно», – поправил возчик, заглядывая ему через плечо. – «Обращаться бережно». Откуда вы взяли, что «денежное»?

– Ну да! Конечно! – сказал Калев. – Все правильно. «Бережно». Да, да, это мне. А ведь я мог бы получить и денежную посылку, если бы мой дорогой мальчик не погиб в золотой Южной Америке! Вы любили его, как сына, правда? Да вам это и говорить незачем. Я и так знаю. «Калебу Пламмеру. Обращаться бережно». Да, да, все правильно. Это ящик с глазами для кукол – для тех, которые мастерит моя дочь. Хотел бы я, Джон, чтобы в этом ящике были зрячие глаза для нее самой!

– И я бы хотел, будь это возможно! – воскликнул возчик.

– Благодарю вас, – отозвался маленький человек. – Ваши слова идут от сердца. Подумать только, что она даже не видит своих кукол... а они-то таращат на нее глаза весь день напролет! Вот что обидно! Сколько за доставку, Джон?

– Вот я вас самого доставлю куда-нибудь подальше, если будете спрашивать! – сказал Джон. – Крошка! Чуть было не сострил, а?

– Ну, это на вас похоже, – заметил маленький человек. – Добрая вы душа! Постойте, нет ли еще чего... Нет, кажется, все.

– А мне кажется, что не все, – сказал возчик. – Подумайте хорошенько.

– Что-нибудь для нашего хозяина, а? – спросил Калев, немного подумав. – Ну, конечно! За этим-то я и пришел; но голова у меня забита этими ковчегами и вообще всякой всячиной! Я и позабыл. А он сюда не заходил, нет?

– Ну, нет! – ответил возчик. – Он занят – за невестой ухаживает.

– Однако он хотел сюда заехать, – сказал Калев, – он велел мне идти по этой стороне дороги, когда я буду возвращаться домой, и сказал, что почти наверное меня нагонит. Ну, пора мне уходить... Будьте добры, сударыня, разрешите мне ущипнуть Боксера за хвост?

– Калев! Что за странная просьба!

– Впрочем, лучше не надо, сударыня, – сказал маленький человек. – Может, это ему не понравится. Но мы только что получили небольшой заказ на лающих собак, и мне хотелось бы сделать их как можно больше похожими на живых – насколько это удастся за шесть пенсов. Вот и все. Не беспокойтесь, сударыня.

К счастью, вышло так, что Боксер и без этого стимула начал лаять с великим усердием. Но лай его возвещал о появлении нового посетителя, и потому Калев, отложив изучение живых собак до более удобного времени, взвалил на плечо круглую коробку и поспешно распрощался со всеми. Он мог бы избавить себя от этого труда, так как на пороге столкнулся с хозяином.

– О! Так вы здесь, вот как? Подождите немного. Я подве-

зу вас домой. Джон Пирибингл, мое почтение! И нижайшее почтение вашей прелестной жене! День ото дня хорошеет! Все лучше становится, если только можно быть лучше! И все моложе, – задумчиво добавил посетитель, понизив голос, – как это ни странно!

– Что это вы вздумали говорить комплименты, мистер Теклтон? – сказала Крошка далеко не любезно. – Впрочем, не удивляюсь – ведь я слыхала о вашей помолвке.

– Так, значит, вы о ней знаете?

– Едва поверила, – ответила Крошка.

– Нелегко вам было поверить, да?

– Очень.

Фабрикант игрушек Теклтон, – его зачастую называли «Грубб и Теклтон», ибо так называлась его фирма, хотя Грубб давно продал свой пай в предприятии и оставил в нем только свою фамилию, а по мнению некоторых, и ту черту своего характера, которая ей соответствует, – фабрикант игрушек Теклтон имел призвание, которого не разгадали ни его родители, ни опекуны. Сделайся он при их помощи ростовщиком или въедливым юристом, или судебным исполнителем, или оценщиком описанного за долги имущества, он перебесился бы еще в юности и, вполне удовлетворив свою склонность творить людям неприятности, возможно, превратился бы к концу жизни в любезного человека, – хотя бы ради некоторого разнообразия и новизны. Но, угнетенный и раздраженный своим мирным занятием – изготов-

лением игрушек, он сделался чем-то вроде людоеда и, хотя дети были источником его благополучия, стал их непримиримым врагом. Он презирал игрушки; он ни за что на свете сам не купил бы ни одной; он злобно наслаждался, придавая выражение жестокости физиономиям картонных фермеров, ведущих свиней на рынок, глашатаев, объявляющих о пропаже совести у юристов, заводных старушек, штопающих чулки или разрезающих паштеты, и вообще лицам всех своих изделий. Он приходил в восторг от страшных масок, от противных лохматых красноглазых чертей, выскакивающих из коробочек, от бумажных змеев с рожами вампиров, от демонических акробатов, не желающих лежать спокойно и вечно проделывающих огромные прыжки, до смерти пугая детей. Только эти игрушки приносили ему некоторое облегчение и служили для него отдушиной. На такие штуки он был великий мастер. Все, что напоминало кошмар, доставляло ему наслаждение. Дошло до того, что он однажды просадил уйму денег (хотя очень дорожил этими «игрушками»), фабрикуя, себе в убыток, жуткие диапозитивы для волшебного фонаря, на которых нечистая сила была изображена в виде сверхъестественных крабов с человеческими лицами. Немало денег потратил он, стараясь придать особую выразительность фигурам игрушечных великанов, и хоть сам не был живописцем, сумел все-таки при помощи куска мела показать своим художникам, как изобразить на мордах этих чудовищ зловещую усмешку, способную нарушить душевное

спокойствие любого юного джентльмена в возрасте от шести до одиннадцати лет на весь период рождественских или летних каникул.

Каким он был в своем деле – торговле игрушками, – таким (подобно большинству людей) был и во всем прочем. Поэтому вы легко можете догадаться, что под широким зеленым плащом, доходившим ему до икр, скрывался застегнутый на все пуговицы исключительно приятный субъект и что ни один человек, носивший такие же сапоги с тупыми носками и темно-красными отворотами, не обладал столь изысканным умом и не был столь обаятельным собеседником.

Тем не менее фабрикант игрушек Теклтон собирался жениться. Несмотря на все это, он собирался жениться. И даже – на молодой девушке, на красивой молодой девушке.

Не очень-то он был похож на жениха, когда, весь скрючившись, стоял в кухне возчика с гримасой на сухом лице, надвинув шляпу на нос и глубоко засунув руки в карманы, до самого их дна, а его язвительная, злобная душа выглядывала из крошечного уголка его крошечного глаза, вещая всем недоброе, словно целая сотня воронов, слитая воедино. Но женихом он решил стать.

– Через три дня. В четверг. В последний день первого месяца в году. В этот день будет моя свадьба, – проговорил Теклтон.

Не помню, сказал ли я, что один глаз у него был всегда широко открыт, а другой почти закрыт и что этот полузакры-

тый глаз как раз и выражал его подлинную сущность? Как будто не сказал.

– В этот день будет моя свадьба! – повторил Теклтон, побрякивая деньгами.

– Да ведь в этот день годовщина нашей свадьбы! – воскликнул возчик.

– Ха-ха! – расхохотался Теклтон. – Странно! Вы точь-в-точь такая же пара, как мы. Точь-в-точь!

Невозможно описать, как возмутилась Крошка, услышав эти самоуверенные слова! Что же он еще скажет? Пожалуй, он способен вообразить, что у него родится точь-в-точь такой же малыш. Да он с ума сошел!

– Слушайте! На одно слово! – пробормотал Теклтон, слегка толкнув локтем возчика и отводя его в сторону. – Вы придете на свадьбу? Ведь мы с вами, знаете ли, в одинаковом положении.

– То есть как это – в одинаковом положении? – осведомился возчик.

– Оба мы годимся в отцы своим женам, – объяснил Теклтон, снова толкнув его локтем. – Приходите провести с нами вечерок перед свадьбой.

– Зачем? – спросил Джон, удивленный столь настойчивым радушием.

– Зачем? – повторил тот. – Странно вы относитесь к приглашениям. Да просто так, ради удовольствия – посидеть в приятной компании, знаете ли, и все такое.

– Я думал, вы не охотник до приятной компании, – сказал Джон со свойственной ему прямоотой.

– Тьфу! Я вижу, с вами ничего не поделаешь, придется говорить начистоту, – заметил Теклтон. – Так вот, сказать правду, у вас с женой, когда вы вместе, такой... как выражаются кумушки за чаепитием, такой уютный вид. Мы-то с вами знаем, что под этим кроется, но...

– Нет, я не знаю, что под этим кроется, – перебил его Джон. – О чем вы толкуете?

– Ладно! Пускай мы не знаем, что под этим кроется, – ответил Теклтон. – Допустим, что не знаем, – какое это имеет значение? Я хотел сказать, что если у вас такой уютный вид, значит общество ваше произведет благоприятное впечатление на будущую миссис Теклтон. И хоть я и не думаю, что ваша супруга очень сочувствует моему браку, все же она невольно мне посодействует, потому что от нее веет семейным счастьем и уютом, а это всегда влияет даже на самых равнодушных. Так, значит, придете?

– Сказать по правде, мы уговорились провести годовщину нашей свадьбы дома, – сказал Джон. – Мы обещали это друг другу еще полгода назад. Мы думаем, что у себя дома...

– Э-э! Что такое дом? – вскричал Теклтон. – Четыре стены и потолок! (Отчего вы не прихлопнете своего сверчка? Я бы его убил. Я их всегда убиваю. Терпеть не могу их треска!) В моем доме тоже четыре стены и потолок. Приходите!

– Неужто вы убиваете своих сверчков? – спросил Джон.

– Я давлЮ их, сэр, – ответил тот, с силой топнув каблукoм. – Так, значит, придете? Это, знаете ли, столько же в ваших интересах, сколько в моих, – женщины убедят друг друга, что они спокойны и довольны и ничего лучшего им не надо. Знаю я их! Что бы ни сказала одна женщина, другая обязательно начнет ей вторить. Они так любят соперничать, сэр, что, если ваша жена скажет моей жене: «Я самая счастливая женщина на свете, а муж мой самый лучший муж на свете, и я его обожаю», моя жена скажет то же самое вашей да еще подбавит от себя и наполовину поверит в это.

– Неужто вы хотите сказать, что она не... – спросил возчик.

– Что? – вскричал Теклтон с отрывистым резким смехом. – Что «не»?

Возчик хотел было сказать: «Не обожает вас». Но, взглянув на полузакрытый глаз, подмигивающий ему над поднятым воротником плаща (еще немного, и уголок воротника выколoл бы этот глаз), понял, что Теклтон – совершенно неподходящий предмет для обожания, и потому, заменив эту фразу другой, проговорил:

– Что она не верит в это?

– Ах вы проказник! Вы шутите! – сказал Теклтон.

Но возчик, хоть он с трудом понимал истинный смысл всех речей Теклтoна, с таким серьезным видом уставился на собеседника, что тому пришлось объясниться несколько подробнее.

– Мне пришла блажь, – начал Теклтон и, раскрыв левую руку, постучал правой по указательному пальцу, как бы давая этим понять, что «вот это, мол, я, Теклтон, имейте в виду», – мне пришла блажь, сэр, жениться на молодой девушке, на хорошенькой девушке, – тут он стукнул по мизинцу, подразумевая под ним невесту; не легонько, но резко стукнул, как бы утверждая свою власть. – Я имею возможность потворствовать этой блажи, и я ей потворствую. Такая уж у меня причуда. Но... взгляните сюда!

Он показал пальцем на Крошку, которая в раздумье сидела у очага, подперев рукой украшенный ямочкой подбородок и глядя на яркое пламя. Возчик взглянул на нее, потом на Теклтона, потом на нее, потом снова на Теклтона.

– Конечно, она почитает мужа и повинуется ему, – сказал Теклтон, – и поскольку я не сентиментальный человек, этого для меня вполне довольно. Но неужели вы думаете, что в ее отношении к мужу есть нечто большее?

– Я думаю, – заметил возчик, – что выброшу из окна любого, кто вздумает отрицать это.

– Совершенно верно, – с необыкновенной поспешностью согласился Теклтон. – Безусловно! Вы несомненно так и сделаете. Конечно. Я в этом уверен. Спокойной ночи. Приятных сновидений!

Возчик, совсем сбитый с толку, невольно почувствовал себя как-то беспокойно, неуверенно. И не смог это скрыть.

– Спокойной ночи, любезный друг! – сочувственно про-

говорил Теклтон. – Я ухожу. Я вижу, что мы с вами в сущности совершенно одинаковы. Вы не зайдете к нам завтра вечером? Ну что ж! Мне известно, что послезавтра вы будете в гостях. Там я встречу с вами и приведу туда свою будущую жену. Это ей пойдет на пользу. Вы согласны? Благодарю вас... Что такое?

Жена возчика вскрикнула, и от этого громкого, резкого, внезапного крика вся комната словно зазвенела, как стеклянная. Миссис Пирибингл вскочила с места и стояла, оцепенев от ужаса и удивления. Незнакомец, подошедший поближе к огню погреться, стоял рядом с ее креслом. Но он был совершенно спокоен.

– Крошка! – вскричал возчик. – Мэри! Милая! Что с тобой?

Все тотчас окружили ее. Кaleb, дремавший на коробке со свадебным пирогом, очнулся и спросонья схватил мисс Слоубой за волосы, но немедленно извинился.

– Мэри! – воскликнул возчик, поддерживая жену. – Ты больна? Что с тобой? Скажи мне, дорогая!

Она не ответила, только всплеснула руками и залилась безудержным смехом. Потом, выскользнув из мужниных объятий, опустилась на пол и, закрыв лицо передником, горько заплакала. Потом снова расхохоталась, потом снова расплакалась, а потом сказала, что ей очень холодно, позволила мужу подвести ее к очагу и села на свое место. Старик по-прежнему стоял совершенно спокойно.

– Мне лучше, Джон, – сказала она, – мне сейчас совсем хорошо... я... Джон!

Но Джон стоял с другого бока. Почему же она повернулась к старику, словно говорила это ему? Или все перепуталось у нее в голове?

– Пустяки, милый Джон... я чего-то испугалась... что-то вдруг встало у меня перед глазами... не знаю, что это было. Но теперь все прошло, совсем прошло.

– Я рад, что прошло, – пробормотал Теклтон, обводя комнату выразительным взглядом. – Интересно только, куда оно прошло и что это было. Хм! Кaleb, подойдите поближе. Кто этот седой человек?

– Не знаю, сэр, – шепотом ответил Кaleb. – Я никогда в жизни его не видел. Превосходная фигура для шелкунчика, совершенно новая модель. Приделать ему челюсть, спадающую до самого жилета, и прямо чудно получится.

– Недостаточно уродлив, – сказал Теклтон.

– И для спичечницы годится, – заметил Кaleb, погруженный в созерцание. – Какая модель! Отвинтить ему голову, положить туда спички, а чиркать можно о подошвы, перевернув его вверх ногами, отличная будет спичечница! Хоть сейчас ставь ее на каминную полку в комнате любого джентльмена, – вот как он теперь стоит!

– Все-таки он недостаточно уродлив, – сказал Теклтон. – Ничего в нем нет интересного! Пойдемте! Возьмите коробку!.. Ну, а у вас теперь все в порядке, надеюсь?

– Да, совсем прошло! Совсем прошло! – ответила маленькая женщина, торопливо махнув рукой, чтобы он поскорей уходил. – Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, – сказал Теклтон. – Спокойной ночи, Джон Пирибингл! Осторожней несите коробку, Калев. Посмейте только ее уронить – я вас убью! Ни зги не видно, а погода еще хуже прежнего, а? Спокойной ночи!

Еще раз окинув комнату острыми глазами, он вышел за дверь, а за ним последовал Калев, неся свадебный пирог на голове.

Возчик был так поражен поведением своей маленькой жены и так занят старанием ее успокоить и уходом за нею, что вряд ли замечал присутствие незнакомца до этой самой минуты; но тут он вдруг спохватился, что старик остался их единственным гостем.

– Он, видишь ли, не из их компании, – объяснил Джон. – Надо намекнуть ему, чтобы уходил.

– Прошу прощенья, любезный, – проговорил старик, подойдя к нему, – прошу в особенности потому, что ваша жена, к сожалению, почувствовала себя нехорошо; но провожатый, без которого я почти не могу обойтись из-за своего убожества, – он тронул себя за уши и покачал головой, – провожатый мой не явился, и я боюсь, что вышло какое-то недоразумение. Погода плохая – потому-то ваша удобная повозка (от души себе желаю никогда не ездить на худшей!) и показала мне таким желанным убежищем, – погода все еще очень

плохая, так разрешите мне переночевать у вас, а за койку я заплачу.

– Да, да, – вскричала Крошка. – Да, конечно, останьтесь!

– Вот как, – произнес возчик, изумленный тем, что она так быстро согласилась. – Ну что ж; ничего не имею против, но все-таки я не совсем уверен, что...

– Тише! – перебила его жена. – Милый Джон!

– Да ведь он глухой, как камень, – заметил Джон.

– Я знаю, что он глухой, но... Да, сэр, конечно. Да! Конечно! Я сию минуту постелю ему постель, Джон.

Торопясь приготовить постель незнакомцу, она убежала, а возчик стоял как вкопанный, глядя ей вслед в полном замешательстве – ее волнение и беспокойная суетливость показались ему очень странными.

– Так, значит, мамы стелют постели! – залепетала мисс Слоубой, обращаясь к малышу, – и, значит, волосики у них сделались темными и кудрявыми, когда с них сняли шапочки, и, значит, они напугали бесценных милочек, когда те сидели у огоньков!

Когда человек в сомнении и замешательстве, мысль его зачастую ни с того ни с сего цепляется за пустяки, и возчик, медленно прохаживаясь взад и вперед, поймал себя на том, что мысленно повторяет дурацкие слова Тилли. Он столько раз повторял их, что выучил наизусть, и продолжал твердить все вновь и вновь, как урок, когда Тилли (по обыкновению всех нянек) уже растерла рукой безволосую головенку малы-

ша, – насколько она это считала полезным, – и снова напятила на него чепчик.

«И напугали бесценных милочек, когда те сидели у огоньков! Удивляюсь, чего испугалась Крошка!» – раздумывал возчик, прохаживаясь взад и вперед.

Он всей душой хотел забыть клеветнические намеки фабриканта игрушек, но они тем не менее вызывали в нем какое-то смутное неопределенное беспокойство. Ведь Теклтон был сметлив и хитер, а Джон с горечью сознавал, что изображает тугу, и любой даже случайно оброненный намек всегда волновал его. Ему, конечно, и в голову не приходило связывать слова Теклтона с необычным поведением жены, но обе эти темы его размышлений сливались в его уме, и он не мог их разделить.

Вскоре постель была приготовлена, посетитель выпил чашку чаю, отказавшись от всякого другого угощения, и удалился. Тогда Крошка – она совсем оправилась, по ее словам, совсем оправилась – передвинула большое мужнино кресло к очагу, набила и подала Джону трубку, а сама, по обыкновению, села на свою скамеечку рядом с ним.

Она всегда сидела на этой скамеечке. И ей, вероятно, казалось, что скамеечка у нее очень ласковая и милая.

Тут я должен сказать, что ни один человек на свете не умел так превосходно набивать трубку, как она. Видеть, как она совала свой пухлый пальчик в головку трубки, потом продувала ее, чтобы прочистить, а покончив с этим, делала

вид, будто в трубке остался нагар, и еще раз десять продувала ее и прикладывала к глазу, как подзорную трубу, причем хорошенькое личико ее задорно морщилось, – видеть все это было несказанно приятно! Да, она была настоящая мастерица набивать трубку табаком, а когда зажигала ее бумажным жгутиком, в то время как возчик держал трубку в зубах, и подносила огонь к самому носу мужа, не обжигая его, – это было искусство, высокое искусство!

Признавали это и сверчок с чайником, снова распевавшие свою песенку! Признавал это и яркий огонь, разгоревшийся вновь! Признавал это и маленький косец на часах, продолжавший свою незаметную работу! Признавал это и возчик, у которого морщины на лбу разгладились, а лицо прояснилось; он признавал это даже с большей готовностью, чем все прочие.

И пока он степенно и задумчиво попыхивал своей старой трубкой, а голландские часы тикали, а красный огонь пламенел, а сверчок стрекотал, гений его домашнего очага (ибо сверчок и был этим гением) возник, словно сказочный призрак, в комнате и вызвал в уме Джона множество образов его семейного счастья. Крошки всех возрастов и всех видов толпились в доме. Крошки – веселые девочки – бежали по полю впереди него и собирали цветы; застенчивые Крошки колебались, не зная, отвергнуть им мольбы его неуклюжего двойника или уступить им; новобрачные Крошки выходили из повозки у дверей и в смущении принимали ключи от

хозяйства; маленькие Крошки-матери несли малышей крестить в сопровождении призрачных нянек Слоубой; зрелые, но все еще моложавые и цветущие Крошки следили глазами за Крошками-дочерьми, пляшущими на деревенских вечеринках; пополневшие Крошки сидели, окруженные и осаждаемые кучками румяных внучат; дряхлые Крошки тихо плелись, пошатываясь и опираясь на палочку. Появились и старые возчики со слепыми старыми Боксерами, лежащими у их ног, и новые повозки с молодыми возницами и надписью «Братья Пирибингл», на верхе, и больные старые возчики, обласканные нежнейшими руками, и могилы усопших старых возчиков, зеленеющие на кладбище. И когда сверчок показал ему все эти образы, – а Джон видел их ясно, хотя глаза его не отрывались от огня, – на сердце у возчика стало легко и радостно, и он от всей души возблагодарил своих домашних богов и совсем позабыл о Груббе и Теклтоне.

Но что это за призрак молодого человека, вызванный тем же самым волшебным сверчком – молодого человека, что стоит совсем один у самой Крошкиной скамеечки? Почему он медлит уходить и стоит почти рядом с Крошкой, опираясь на полку очага и непрестанно повторяя: «Вышла замуж! И не за меня!»

О Крошка! О неверная Крошка! Этому всему нет места ни в одном из видений твоего мужа. Так зачем же такая тень упала на его домашний очаг?

Песенка вторая

Жили-были Калёб Пламмер и его слепая дочь, одни-одиношеньки, как говорится в сказках, – а я благословляю сказки, надеюсь, вы тоже, за то, что они хоть как-то скрашивают наш буднич­ный мир! – жили-были Калёб Пламмер и его слепая дочь одни-одиношеньки в маленьком деревянном домишке, – не домишке, а потрескавшейся скорлупке какой-то, которая, по правде говоря, казалась всего лишь прыщиком на огромном краснокирпичном носу фабрики «Грубб и Теклтон». Обиталище Грубба и Теклтона было самым роскошным на этой улице, зато жилище Калеба Пламмера можно было свалить одним-двумя ударами молотка и увезти обломки на телеге.

Если бы после такого разгрома кто-нибудь оказал честь лачуге Калеба Пламмера и заметил ее отсутствие, он несомненно одобрил бы, что ее снесли, ибо это послужило к вящему украшению улицы. Лачуга прилепилась к владениям Грубба и Теклтона, как ракушка к килю корабля, как улитка к двери, как пучок поганок к стволу дерева. Но именно она была семенем, из которого выросло мощное древо Грубба и Теклтона, и под ее покосившейся кровлей Грубб еще не так давно скромно изготавливал игрушки для целого поколения мальчи­ков и девочек, которые играли в эти игрушки, рассматривали, что у них внутри, ломали их, а со временем,

состарившись, засыпали вечным сном.

Я сказал, что здесь жили Калев и его бедная слепая дочь. Но мне следовало бы сказать, что только сам Калев здесь жил, а его бедная слепая дочь жила совсем в другом месте – в украшенном Калевом волшебном доме, не знавшем ни нужды, ни старости, в доме, куда горе не имело доступа. Калев не был колдуном, но тому единственному колдовскому искусству, которым мы еще владеем – колдовству преданной, неумирающей любви, его учила Природа, и плодами ее уроков были все эти чудеса.

Слепая девушка не знала, что потолки в доме закопчены, а стены покрыты грязными пятнами; что там и сям с них обвалилась штукатурка и трещины без помехи ширятся день ото дня; что потолочные балки крошатся и прогибаются. Слепая девушка не знала, что железо здесь ржавеет, дерево гниет, обои отстают от стен; не знала истинного размера, вида и формы этой ветшающей лачуги. Слепая девушка не знала, что на обеденном столе стоит безобразная фаянсовая и глиняная посуда, а в доме поселились горе и уныние; не знала, что редкие волосы Калеба все больше и больше седеют у нее на незрячих глазах. Слепая девушка не знала, что хозяин у них холодный, придирчивый, равнодушный к ним человек, – короче говоря, не знала, что Теклтон – это Теклтон, – но была убеждена, что он чудаковатый остряк, охотник пошутить с ними и хотя для них он истинный ангел-хранитель, он не хочет слышать от них ни слова благодарности.

И все это было делом рук Калеба, делом рук ее простодушного отца! Но у него за очагом тоже обитал сверчок; Калев с грустью слушал его песенки в те дни, когда его слепая дочка, совсем еще маленькой, потеряла мать, и этот сверчок-волшебник тогда внушил ему мысль, что и тяжкое убожество может послужить ко благу и что девочку можно сделать счастливой при помощи столь несложных уловок. Ибо все сверчки – могущественные волшебники, хотя люди обычно не знают этого (они очень часто этого не знают), и нет в невидимом мире голосов, более нежных и правдивых, голосов, более достойных беспредельного доверия и способных давать более добрые советы, чем голоса этих Духов Огня и Домашнего очага, когда они обращаются к людям.

Калев с дочерью вместе трудились в своей рабочей камере, служившей им также гостиной и столовой. Странная это была комната. В ней стояли дома, оконченные и неоконченные, для кукол любого общественного положения. Были тут пригородные домики для кукол среднего достатка; квартирки в одну комнату с кухней для кукол из простонародья; великолепные столичные апартаменты для высокопоставленных кукол. Некоторые из этих помещений были уже обмелированы на средства, которыми располагали куклы не очень богатые; другие можно было по первому требованию обставить на самую широкую ногу, сняв для них мебель с полок, заваленных креслами, столами, диванами, кроватями и драпировками. Знатные аристократы, дворяне и прочие куклы,

для которых предназначались эти дома, лежали тут же в корзинах, тараша глаза на потолок; но, определяя их положение в обществе и помещая каждую особу в отведенные ей общественные границы (что, как показывает опыт в действительной жизни, к прискорбию, очень трудно), создатели этих кукол намного перегнали природу, – которая частенько бывает своенравной и коварной – и, не полагаясь на такие второстепенные отличительные признаки, как платья из атласа, ситца или тряпичных лоскутков, они вдобавок сделали свои произведения столь разительно не похожими друг на друга, что ошибиться было невозможно. Так, кукла – благородная леди обладала идеально сложенным восковым телом, но – только она и равные ей. Куклы, стоящие на более низкой ступени общественной лестницы, были сделаны из лайки, а на следующей – из грубого холста. Что касается простолюдинов, то для изготовления их рук и ног брались лучинки из ящика с трупом, по одной на каждую конечность, и куклы эти тотчас же входили в отведенные для них границы, навсегда лишаясь возможности выбраться оттуда.

Кроме кукол, в комнате Калеба Пламмера можно было увидеть и другие образцы его ремесла. Тут были новые ковчеги, в которые звери и птицы еле-еле влезали; впрочем, их можно было пропихнуть через крышу, а потом хорошенько встряхнуть ковчег так, чтобы они утряслись получше. Образец поэтической вольности: к дверям почти всех этих новых ковчегов были подвешены дверные молотки – неуместная,

быть может, принадлежность, напоминающая об утренних визитерах и почтальоне, но все же премилое украшение для фасада этих сооружений. Тут были десятки унылых тележек, колеса которых, вращаясь, исполняли очень жалобную музыку, множество маленьких скрипок, барабанов и других таких орудий пытки; бесконечное количество пушек, щитов, мечей, копий и ружей. Тут были маленькие акробаты в красных шароварах, непрестанно перепрыгивающие через высокие барьеры из красной тесьмы и свергающиеся вниз головой с другой стороны; были тут и бесчисленные пожилые джентльмены вполне приличной, чтобы не сказать почтенной наружности, которые очертя голову скакали через палки, горизонтально вставленные для этой цели во входные двери их собственных домов. Тут были разные животные; в частности, лошади любой породы, начиная от пегого бочонка на четырех колышках с меховым лоскутком вместо гривы и кончая чистокровным конем-качалкой, рьяно встающим на дыбы. Сосчитать эти смешные фигурки, вечно готовые совершать всевозможные нелепости, – как только повернешь заводной ключик, – было бы так же трудно, как назвать человеческую глупость, порок или слабость, которые не нашли своего игрушечного воплощения в комнате Калеба Пламмера. И ничто тут не было преувеличено: ведь и в жизни случается, что крошечные ключики заставляют людей проделывать такие штуки, на какие не способна ни одна игрушка.

Окруженные всеми этими предметами, Калев с дочерью

сидели за работой. Слепая девушка шила платье для куклы, Калёб красил восьмиоконный фасад красивого особняка и вставлял стекла в его окна.

Забота, наложившая свой отпечаток на морщинистое лицо Калёба, его сосредоточенный и отсутствующий вид были бы под стать какому-нибудь алхимику или ученому, углубившемуся в дебри науки, и, на первый взгляд, представляли странный контраст с его занятием и окружающими его безделушками. Но безделушки, когда их изобретают и выделывают ради хлеба насущного, имеют очень важное значение. К тому же, я не берусь утверждать, что, будь Калёб министром двора, или членом парламента, или юристом, или даже крупным спекулянтom, он имел бы дело с менее нелепыми игрушками; но те игрушки вряд ли были бы такими же безобидными, как эти.

– Так, значит, отец, ты вчера вечером ходил по дождю в своем красивом новом пальто? – сказала дочь Калёба.

– Да, в моем красивом новом пальто, – ответил Калёб, бросив взгляд на протянутую веревку; описанное выше холщовое одеяние было аккуратно развешено на ней для просушки.

– Как я рада, что ты заказал его, отец!

– И такому хорошему портному! – сказал Калёб. – Это самый модный портной. Для меня пальто даже слишком хорошо.

Слепая девушка оторвалась от работы и радостно засме-

ялась.

– Слишком хорошо, отец! Что может быть слишком хорошо для тебя?

– Мне почти стыдно носить это пальто, – продолжал Калеб, следя за тем, какое впечатление производят на нее эти слова и как светлеет от них ее лицо. – Ведь когда я слышу, как мальчишки и вообще разные люди говорят у меня за спиной: «Глядите! Вот так щеголь!», я прямо не знаю куда деваться. А вчера вечером от меня не отставал какой-то нищий. Я ему говорю, что я сам бедный человек, а он говорит: «Нет, ваша честь, не извольте так говорить, ваша честь!» Я чуть со стыда не сгорел. Почувствовал, что не имею права носить такое пальто.

Счастливая слепая девушка! Как ей было весело, в какой восторг она пришла!

– Я тебя вижу, отец, – сказала она, сжимая руки, – вижу так же ясно, как если бы у меня были зрячие глаза; но когда ты со мной, они мне не нужны. Синее пальто...

– Ярко-синее, – сказал Калеб.

– Да, да! Ярко-синее! – воскликнула девушка, поднимая сияющее личико. – Оно, кажется, того же цвета, что и небо! Ты уже говорил мне, что небо – оно синее! Ярко-синее пальто...

– Широкое, сидит свободно, – ввернул Калеб.

– Да! Широкое, сидит свободно! – вскричала слепая девушка, смеясь от всего сердца. – А у тебя, милый отец, ве-

селе глаза, улыбающееся лицо, легкая походка, темные волосы, и в этом пальто ты выглядишь таким молодым и красивым!

– Ну, полно, полно, – сказал Кaleb, – еще немного, и я возгоржусь.

– По-моему, ты уже возгордился! – воскликнула слепая девушка, в полном восторге показывая на него пальцем. – Знаю я тебя, отец! Ха-ха-ха! Я тебя уже раскусила!

Как резко отличался образ, живший в ее душе, от того Калеба, который сейчас смотрел на нее! Она назвала его походку легкой. В этом она была права. Много лет он ни разу не переступал этого порога свойственным ему медлительным шагом, но старался изменить походку ради нее; и ни разу, даже когда на сердце у него было очень тяжело, не забыл он, что нужно ступать легко, чтобы вселить в нее бодрость и мужество!

Кто знает, так это было или нет, но мне кажется, что растерянный, отсутствующий вид Калеба отчасти объяснялся тем, что старик, движимый любовью к своей слепой дочери, мало-помалу совсем отучился видеть все – в том числе и себя – таким, каким оно выглядело на самом деле. Да и как было этому маленькому человеку не запутаться, если он уже столько лет старался предать забвению собственный свой облик, а с ним – истинный облик окружающих предметов?

– Ну, готово! – сказал Кaleb, отступив шага на два, чтобы лучше оценить свое произведение. – Так же похож на насто-

ящий дом, как дюжина полупенсов на один шестипенсовик. Какая жалость, что весь фасад откидывается сразу! Вот если бы в доме была лестница и настоящие двери из комнаты в комнату! Но то-то и худо в моем любимом деле – я постоянно заблуждаюсь и надуваю сам себя.

– Ты говоришь очень тихо. Ты не устал, отец?

– Устал? – подхватил Калев, внезапно оживляясь. – С чего мне уставать, Берта? Я в жизни не знал усталости. Что это за штука?

Желая еще сильнее подчеркнуть свои слова, он удержался от невольного подражания двум поясным статуэткам, которые потягивались и зевали на каминной полке и чье тело, от пояса и выше, казалось, вечно пребывает в состоянии полного изнеможения, и стал напевать песенку. Это была застольная песня – что-то насчет «пенного кубка». Старик пел ее с напускной лихостью, и от этого лицо его казалось еще более изнуренным и озабоченным.

– Как! Да вы, оказывается, поете? – проговорил Теклтон, просовывая голову в дверь. – Валяйте дальше! А вот я петь не умею.

Никто и не заподозрил бы этого. Лицо у него было, что называется, отнюдь не лицом певца.

– Я не могу позволить себе петь, – сказал Теклтон, – но очень рад, что вы можете. Надеюсь, вы можете также позволить себе работать. Но вряд ли хватит времени на то и на другое, сдастся мне.

– Если бы ты только видела, Берта, как он мне подмигивает! – прошептал Калев. – Ну и шутник! Кто его не знает, подумает, что он это всерьез... ведь правда?

Слепая девушка улыбнулась и кивнула.

– Говорят, если птица может петь, но не хочет, ее надо заставить петь, – проворчал Теклтон. – А что прикажете делать с совой, которая не умеет петь – да и незачем ей петь, – а все-таки поет? Может, заставить ее делать что-нибудь другое?

– С каким видом он мне сейчас подмигивает! – шепнул Калев дочери. – Сил нет!

– Он всегда весел и оживлен, когда он с нами! – воскликнула Берта, улыбаясь.

– Ах, и вы здесь, вот как? – отозвался Теклтон. – Несчастливая идиотка!

Он в самом деле считал ее идиоткой, основываясь на том – не знаю только, сознательно или бессознательно, – что она его любила.

– Так! Ну, раз уж вы здесь, как поживаете? – буркнул Теклтон.

– Ах, отлично; очень хорошо! Я так счастлива, что даже вы не могли бы пожелать мне большего счастья. Я ведь знаю – вы бы весь мир сделали счастливым, будь это в вашей власти.

– Несчастливая идиотка, – пробормотал Теклтон. – Ни проблеска разума! Ни малейшего!

Слепая девушка взяла его руку и поцеловала; задержала

ее на мгновение в своих руках и, прежде чем выпустить, нежно прикоснулась к ней щекой. В этом движении было столько невыразимой любви, столько горячей благодарности, что даже Теклтон был слегка тронут, и проворчал чуть мягче, чем обычно:

– Что еще такое?

– Вчера я поставила его у своего изголовья, когда ложилась спать, и я видела его во сне. А когда рассвело и великолепное красное солнце... Оно красное, отец?

– Оно красное по утрам и по вечерам, Берта, – промолвил бедный Кaleb, бросив скорбный взгляд на хозяина.

– Когда солнце взошло и яркий свет – я почти боюсь наткнуться на него, когда хожу, – проник в мою комнату, я повернула горшочек с цветком в сторону, откуда шел свет, и возблагодарила небо за то, что оно создает такие чудесные цветы, и благословила вас за то, что вы посылаете их мне, чтобы подбодрить меня!

– Сумасшедшие прямехонько из Бедлама! – пробурчал себе под нос Теклтон. – Скоро придется надевать на них смирительную рубашку и завязывать им рот полотенцем. Чем дальше, тем хуже!

Слушая слова дочери, Кaleb с отсутствующим видом смотрел перед собой, как будто сомневался (мне кажется, он действительно сомневался) в том, что Теклтон заслужил подобную благодарность. Если бы в эту минуту от него потребовали под страхом смерти либо пнуть ногой фабриканта

игрушек, либо пасть ему в ноги – соответственно его заслугам, – и предоставили бы ему свободу выбора, – неизвестно, на что решился бы Калев, и мне кажется, шансы разделились бы поровну. А ведь Калев сам, своими руками и так осторожно, принес вчера домой кустик роз для дочери и своими устами произнес слова невинного обмана, чтобы она не могла даже заподозрить, как самоотверженно, с каким самоотречением он изо дня в день во всем отказывал себе ради того, чтобы ее порадовать.

– Берта, – сказал Теклтон, стараясь на этот раз говорить несколько более сердечным тоном, – подойдите поближе. Вот сюда.

– Ах! Я могу сама подойти к вам. Вам не нужно указывать мне путь! – откликнулась она.

– Открыть вам один секрет, Берта?

– Пожалуйста! – с любопытством воскликнула она. Как просветлело ее незрячее лицо! Как внутренний свет озарял ее, когда она вслушивалась в его слова!

– Сегодня тот день, когда эта маленькая... как ее там зовут... эта балованная девчонка, жена Пирибингла, обычно приходит к вам в гости – устраивает здесь какую-то нелепую пирушку. Сегодня, так или нет? – спросил фабрикант игрушек тоном, выразившим глубокое отвращение к подобным затеям.

– Да, – ответила Берта, – сегодня.

– Так я и думал, – сказал Теклтон. – Я сам не прочь зайти

к вам.

– Ты слышишь, отец? – воскликнула слепая девушка в полном восторге.

– Да, да, слышу, – пробормотал про себя Калед, устремив в пространство недвижный взгляд лунатика, – но не верю. Конечно, это обман, вроде тех, что я всегда сочиняю.

– Видите ли, я... я хочу несколько ближе познакомить Пиррибинглов с Мэй Филдинг, – объяснил Теклтон. – Я собираюсь жениться на Мэй.

– Жениться! – вскричала слепая девушка, отшатываясь от него.

– Фор-мен-ная идиотка! – пробормотал Теклтон. – Она, чего доброго, не поймет меня. Да, Берта! Жениться! Церковь, священник, причетник, карета с зеркальными стеклами, колокольный звон, завтрак, свадебный пирог, бантики, бутоньерки, трещотки, колокольцы и прочая чепуховина. Свадьба, понимаете? Свадьба. Неужели вы не знаете, что такое свадьба?

– Знаю, – кротко ответила слепая девушка. – Понимаю!

– В самом деле? – буркнул Теклтон. – Это превосходит мои ожидания. Прекрасно! По этому случаю я хочу прийти к вам в гости и привести Мэй с ее матерью. Я вам кое-чего пришлю. Холодную баранью ногу или там еще что-нибудь, посытнее. Вы будете ждать меня?

– Да, – отозвалась она.

Она опустила голову, отвернулась и стояла так, сложив ру-

ки и задумавшись.

– Вряд ли будете, – пробормотал Теклтон, взглянув на нее, – вы, должно быть, уже успели все перезабыть. Каллеб!

«Вероятно, мне нужно сказать, что я здесь», – подумал Каллеб.

– Да, сэр?

– Смотрите, чтобы она не забыла того, что я говорил ей.

– Она ничего не забывает, – ответил Каллеб. – Это, пожалуй, единственное, чего она не умеет.

– Всяк, своих гусей принимает за лебедей, – заметил фабрикант игрушек, пожав плечами. – Жалкий старик!

Высказав это замечание чрезвычайно презрительным тоном, старый Грубб и Теклтон удалился.

Берта так задумалась, что не тронулась с места, когда он ушел. Радость покинула ее поникшее лицо, и оно сделалось очень печальным. Раза три-четыре она качнула головой, как бы оплакивая какое-то воспоминание или утрату, но скорбные мысли ее не находили выхода в словах.

Каллеб начал потихоньку запрягать пару лошадей в фургон самым несложным способом, то есть попросту приколачивая сбрую к различным частям их тела; только тогда девушка подошла к его рабочей скамейке и, присев рядом с ним, промолвила:

– Отец, мне так грустно во мраке. Мне нужны мои глаза, мои терпеливые, послушные глаза.

– Они тут, – сказал Каллеб. – Всегда готовы служить. Они

больше твои, чем мои, Берта, и готовы служить тебе в любой час суток, хотя часов этих целых двадцать четыре! Что им сделать для тебя, милая?

– Осмотри комнату, отец.

– Хорошо, – промолвил Калев. – Сказано – сделано, Берта.

– Расскажи мне о ней.

– Она – такая же, как и всегда, – начал Калев. – Простенькая, но очень уютная. Стены окрашены в светлую краску, на тарелках и блюдах яркие цветы; дерево на балках и стеной обшивке блестит; комната веселая и чистенькая, как и весь дом; это ее очень украшает.

Веселой и чистенькой она была лишь там, куда Берта могла приложить свои руки. Но во всех прочих углах старой покосившейся конуры, которую Калев так преображал своей фантазией, не было ни веселых красок, ни чистоты.

– Ты в своем рабочем платье и не такой нарядный, как в красивом пальто? – спросила Берта, дотрагиваясь до него.

– Не такой нарядный, – ответил Калев, – но все-таки недурен.

– Отец, – сказала слепая девушка, придвигаясь к нему и обвивая рукой его шею, – расскажи мне о Мэй. Она очень красивая?

– Очень, – ответил Калев.

Мэй и правда была очень красива. Редкий случай в жизни Калеба – ему не пришлось ничего выдумывать.

– Волосы у нее темные, – задумчиво проговорила Берта, – темнее моих. Голос нежный и звонкий, это я знаю. Я часто с наслаждением слушала ее. Ее фигура...

– Ни одна кукла в этой комнате не сравнится с нею, – сказал Калев. – А глаза у нее!..

Он умолк, потому что рука Берты крепче обняла его за шею, и он со скорбью понял, что значит это предостерегающее движение.

Он кашлянул, постучал молотком, потом снова принялся напевать песню о пенном кубке – верное средство, к которому он неизменно прибегал в подобных затруднениях.

– Теперь о нашем друге, отец, о нашем благодетеле... Ты знаешь, мне никогда не надоедает слушать твои рассказы о нем... Ведь правда? – торопливо проговорила она.

– Ну, конечно, – ответил Калев. – И это понятно.

– Ах! Да еще как понятно-то! – воскликнула слепая девушка с таким жаром, что Калев, как ни чисты были его намерения, не решился поглядеть ей в лицо и смущенно опустил глаза, как будто она могла догадаться по ним о его невинном обмане.

– Так расскажи мне о нем еще раз, милый отец, – сказала Берта. – Много, много раз! Лицо у него ласковое, доброе и нежное. Оно честное и правдивое, в этом я уверена! Он так добр, что пытается скрыть свои благодеяния, притворяясь грубым и недоброжелательным, но доброта сквозит в каждом его движении, в каждом взгляде.

– И придает им благородство! – добавил Калев в тихом отчаянии.

– И придает им благородство! – воскликнула слепая девушка. – Он старше Мэй, отец?

– Д-да, – нехотя протянул Калев. – Он немного старше Мэй. Но это неважно.

– Ах, отец, конечно! Быть его терпеливой спутницей в немощи и старости; быть его кроткой сиделкой в болезни и верной подругой в страдании и горе; не знать усталости, работая для него; сторожить его сон, ухаживать за ним, сидеть у его постели, говорить с ним, когда ему не спится, молиться за него, когда он уснет, – какое это счастье! Сколько у нее будет поводов доказать ему свою верность и преданность! Она будет делать все это, отец?

– Конечно, – ответил Калев.

– Я люблю ее, отец! Я чувствую, что могу любить ее всей душой! – воскликнула слепая девушка. Она прижалась бедным своим слепым лицом к плечу Калеба, заплакала и плакала так долго, что он готов был пожалеть, что дал ей это счастье, орошенное слезами.

Между тем в доме Джона Пирибингла поднялась суматоха, потому что маленькая миссис Пирибингл, естественно, не могла и помыслить о том, чтобы отправиться куда-нибудь без малыша, а снаряжить малыша в путь-дорогу требовало времени. Нельзя сказать, чтобы малыш представлял собой нечто крупное в смысле веса и объема, но возни с ним бы-

ло очень много, и все надо было проделывать с передышками и не торопясь. Так, например, когда малыш ценою немалых усилий был уже до известной степени одет и можно было бы предположить, что еще одно-два движения – и туалет его будет закончен, а сам он превращен в отменного маленького щеголя, которому сам черт не брат, на него неожиданно нахлобучили фланелевый чепчик и спешно засунули его в постель, где он, если можно так выразиться, парился между двумя одеяльцами добрый час. Затем его, румяного до блеска и пронзительно вопящего, вывели из состояния неподвижности, чтобы предложить ему... что? Так и быть, скажу, если вы позволите мне выразиться общими словами: чтобы предложить ему легкое угощение. После этого он снова заснул. Миссис Пирибингл воспользовалась этим промежуток времени, чтобы скромно принарядиться, и сделалась такой хорошенькой, каких и свет не видывал. В течение той же небольшой передышки мисс Слоубой впихивала себя в короткую кофту самого удивительного и хитроумного покроя – это одеяние не вязалось ни с нею, ни с чем-либо другим во всей вселенной, но представляло собою сморщенный, с загнувшимися углами независимый предмет, который существовал самостоятельно, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. К тому времени малыш снова оживился и соединенными усилиями миссис Пирибингл и мисс Слоубой тельце его было облачено в пелерину кремового цвета, а голова – в своего рода пышный пирог из бязи. И вот в должное

время они все трое вышли во двор, где старая лошадь так нетерпеливо перебирала ногами, оставляя на дороге свои автографы, что будь это во время деловой поездки, она, наверное, успела бы с избытком отработать всю сумму пошлин, которые уплатил за день ее хозяин у городских застав, а Боксер смутно маячил вдали и, непрестанно оглядываясь, соблазнял лошадь двинуться в путь, не дожидаясь приказа.

Что касается стула или другого предмета, став на который миссис Пирибингл могла бы влезть в повозку, то вы, очевидно, плохо знаете Джона, если думаете, что такой предмет был нужен. Вы и глазом бы моргнуть не успели, а Джон уже поднял Крошку с земли, и она очутилась в повозке на своем месте, свежая и румяная, и сказала:

– Джон! Как тебе не стыдно! Подумай о Тилли!

Если бы мне разрешили, хотя бы в самых деликатных выражениях, упоминать об икрах молодых девиц, я сказал бы, что в икрах мисс Слоубой таилось нечто роковое, так как они были странным образом подвержены ранениям, и она ни разу не поднялась и не спустилась хоть на один шаг без того, чтобы не отметить этого события ссадиной на икрах, подобно тому как Робинзон Крузо зарубками отмечал дни на своем древесном календаре. Но, возможно, это сочтут не совсем приличным, и потому я не стану пускаться в подобные рассуждения.

– Джон! Ты взял корзину, в которой паштет из телятины и ветчины и прочая снедь, а также бутылки с пивом? – спро-

сила Крошка. – Если нет, сию минуту поворачивай домой.

– Хороша, нечего сказать! – отозвался возчик. – Сама задержала меня на целую четверть часа, а теперь говорит: поворачивай домой!

– Прости, пожалуйста, Джон, – сказала Крошка в большом волнении, – но я, право же, не могу ехать к Берте – и не поеду, Джон, ни в коем случае – без паштета из телятины с ветчиной, и прочей снеди, и пива, Стой!

Этот приказ относился к лошади, но та не обратила на него никакого внимания.

– Ох, да остановись же, Джон! – взмолилась миссис Пирибингл. – Пожалуйста!

– Когда я начну забывать вещи дома, тогда и остановлюсь, – сказал Джон. – Корзина здесь, в целости и сохранности!

– Какое ты жестокосердое чудовище, Джон, что не сказал этого сразу, – ведь я так испугалась! Я бы ни за какие деньги не поехала к Берте без паштета из телятины с ветчиной и прочей снеди, а также без бутылок с пивом, это я прямо говорю. Ведь с тех пор как мы поженились, Джон, мы аккуратно раз в две недели устраиваем у нее маленькую пирушку. А если это у нас разладится, я, право же, подумаю, что мы никогда уже не будем счастливы.

– Ты очень добрая, что с самого начала придумала эти пирушки, – сказал возчик, – и я уважаю тебя за это, женушка.

– Милый Джон, – ответила Крошка, густо краснея, – не

надо меня уважать. Вот уж нет!

– Кстати, – заметил возчик, – тот старик...

Опять она смутилась, и так ясно это было видно!

– Он какой-то чудной, – сказал возчик, глядя прямо перед собой на дорогу. – Не могу я его раскусить. Впрочем, не думаю, что он плохой человек.

– Конечно, нет... Я... я уверена, что он не плохой.

– Вот-вот! – продолжал возчик, невольно переводя на нее глаза, потому что она говорила таким тоном, словно была твердо убеждена в своей правоте. – Я рад, что ты в этом так уверена, потому что я и сам так думаю. Любопытно, почему он вздумал проситься к нам в жильцы, правда? Это что-то странно.

– Да, очень странно, – подтвердила она едва слышно.

– Однако он очень добродушный старикан, – сказал Джон, – и платит, как джентльмен, и я думаю, что слову его можно верить, как слову джентльмена. Я долго беседовал с ним сегодня утром, – он говорит, что теперь лучше понимает меня, потому что привык к моему голосу. Он много рассказывал о себе, и я много рассказывал ему о себе, и он задал мне кучу всяких вопросов. Я сказал ему, что, как тебе известно, мне приходится ездить по двум дорогам, один день – направо от нашего дома и обратно; другой день – налево от нашего дома и обратно (он нездешний, и я не стал объяснять ему, как называются здешние места), и он этому как будто очень обрадовался. «Так, значит, сегодня вечером я

буду возвращаться домой той же дорогой, что и вы, говорит, а я думал, вы поедете в другую сторону. Вот это удача! Пожа-луй, я попрошу вас опять подвезти меня, но на этот раз обещаю не засыпать так крепко». А в тот раз он спал действительно крепко, уж это верно!.. Крошка! О чем ты думаешь?

– О чем думаю, Джон? Я... я слушала тебя.

– Ах, так! Прекрасно, – сказал честный возчик. – А я поглядел сейчас на твое лицо и спохватился, что я-то все говорю, говорю, а ты уж, кажется, думаешь о чем-то другом. Спыхватился все-таки, честное слово!

Крошка не ответила, и некоторое время они ехали молча. Но нелегко было долго молчать в повозке Джона Пирибингла, потому что каждый встречный на дороге хотел как-то приветствовать семейство возчика. Пусть это было только «здравствуйте» – да зачастую ничего другого и не говорили, – тем не менее ответное сердечное «Здравствуйте» требовало не только кивка и улыбки, но и такого же напряжения легких, как длиннейшая речь в парламенте. Иногда пешие или конные путники некоторое время двигались рядом с повозкой Джона специально для того, чтобы поболтать с ним и Крошкой, и тогда уж разговор завязывался самый оживленный.

Надо сказать, что Боксер лучше всех содействовал этим дружеским разговорам. Ведь благодаря ему возчик издалика узнавал приятелей, а приятели узнавали его.

Боксера знали все, кто встречался по дороге, особенно ку-

ры и свиньи, и, завидев, как он бочком подкрадывается, с любопытством насторожив уши и ожесточенно размахивая обрубок хвоста, все встречные немедленно отступали на самые отдаленные задворки, отказываясь от чести познакомиться с ним поближе. Ему до всего было дело – он шмыгал за угол на каждом перекрестке; заглядывал во все колодцы; проникал во все дома; врывался в самую гущу школьниц, вышедших на прогулку; вспугивал всех голубей; устрашал всех кошек, отчего их хвосты пушились и раздувались, и, как за-всегда, забегал в трактиры. Где бы он ни появился, кто-нибудь обязательно восклицал: «Эй, глядите! Да ведь это Боксер», и этот «кто-нибудь» в сопровождении двух-трех других тотчас выходил на дорогу поздороваться с Джоном Пирибинглом и его хорошенькой женой.

В повозке лежало множество пакетов и свертков, так что приходилось часто останавливаться, чтобы выдавать их и принимать новые. И эти остановки были едва ли не самым приятным развлечением во время путешествия. Одни люди с таким пылким нетерпением ожидали предназначенных им посылок, другие так пылко изумлялись полученным посылкам, третьи с таким пылом и так пространно давали указания насчет посылок, которые отправляли, а Джон так живо интересовался каждой посылкой, что всем было весело, как во время игры. Приходилось везти и такие грузы, о которых надо было подумать и поговорить, извозчик держал совет с отправителями о том, как укладывать и размещать эти посыл-

ки; а Боксер, который обычно присутствовал на подобных, совещаниях, то прислушивался к ним в коротком приступе глубочайшего внимания, то носился вокруг собравшихся мудрецов в длительном приступе энергии и лаял до хрипоты. Крошка, свидетельница всех этих маленьких происшествий, с интересом наблюдала за ними со своего места, широко раскрыв глаза и напоминая очаровательный портрет, обрамленный верхом повозки, а молодые люди частенько заглядывались на нее, подталкивая друг друга локтем, шептались и завидовали возчику. Джону это доставляло безмерное удовольствие. Ведь он гордился тем, что его маленькой женошкой так восхищаются, и знал, что сама она не против этого; пожалуй, это ей даже нравится.

Правда, все вокруг заволочло туманом, как тому и подобает бить в январе месяце, а погода стояла холодная и сырая. Но кого могли смутить подобные пустяки? Конечно, не Крошку. И не Тилли Слоубой, считавшую, что ехать в повозке в любую погоду – это предел доступной людям радости и венец всех земных желаний. И не малышка, ручаюсь головой – никакой малыш не мог бы всю дорогу оставаться таким тепленьким и спать так крепко (хотя все младенцы – мастера на то и на другое), как спал этот блаженный юный Пирибингл.

Конечно, в тумане нельзя было видеть на большое расстояние, однако удавалось все-таки видеть очень многое! Поразительно, чего только не увидишь и в более густом тумане,

если получше присмотреться к окружающему! Да что там – приятно было просто сидеть в повозке и смотреть на «кольца фей»⁴ в полях и на иней, еще не растаявший в тени изгородей и деревьев, не говоря уж о том, какие неожиданно причудливые формы принимали деревья, когда выступали из тумана и потом снова скрывались в нем. Живые изгороди с перепутавшимися сучьями растеряли все свои листья, и промерзшие ветви качались на ветру; но они не вызывали уныния. На них было приятно смотреть, потому что при виде их желанный огонь домашнего очага казался еще более горячим, чем он был на самом деле, а зелень будущего лета – еще более яркой. Речка как будто застыла, но она все-таки текла, текла довольно быстро, и то уже было хорошо. Вода в канале скорее ползла, чем текла, и казалась стоячей – это надо признать. Но ничего! Тем скорее она замерзнет, думали все, когда морозная погода установится окончательно, и можно будет кататься по льду на коньках и на санках, а грузные старые баржи, вмерзшие в лед где-нибудь в затоне, будут целыми днями дымить своими заржавленными железными трубами, отдыхая на досуге.

В одном месте пылала большая куча сорной травы или соломы, и путники смотрели на огонь, такой бледный при дневном свете и лишь кое-где прорывающийся вспышками

⁴ «Кольца фей» – круги особенно густой или, наоборот, увядшей травы, представляющие собой, по народному поверью, следы хороводов, которые водят по ночам феи.

красного пламени; но в конце концов мисс Слоубой заявила, что дым «забивается ей в нос», поперхнулась – что случилось с нею по малейшему поводу – и разбудила малыша, который уже больше не мог заснуть. Теперь Боксер, бежавший на четверть мили впереди, миновал окраину городка и достиг поворота на ту улицу, где жили Калев с дочерью, так что слепая девушка вышла с отцом из дому навстречу путникам задолго до того, как они подъехали.

Кстати сказать, обращение Боксера с Бертой отличалось кое-какими тонкими оттенками, которые неопровержимо убеждают меня в том, что он знал о ее слепоте. Он никогда не старался привлечь ее внимание, глядя ей в лицо, как делал с другими, но непременно прикасался к ней. Не знаю, кто мог рассказать ему о слепых людях и слепых собаках. Он никогда не жил у слепого хозяина, и, насколько мне известно, ни мистер Боксер-старший, ни миссис Боксер, ни кто-либо другой из почтенных родственников Боксера-младшего с отцовской и материнской стороны не страдал слепотой. Быть может, он сам догадался о том, что Берта слепая; во всяком случае, он как-то чувствовал это и потому теперь поймал ее за юбку и держал в зубах эту юбку до тех пор, пока миссис Пирибингл, малыш, мисс Слоубой и корзина не были благополучно переправлены в дом.

Мэй Филдинг уже пришла, пришла и мать ее, маленькая сварливая старушка с недовольным лицом, которая слыла необычайно важной дамой – по той простой причине, что

сохранила талию, тонкую, как кроватьный столбик, – и держалась очень по-светски и покровительственно, потому что некогда была богатой или воображала, что могла бы разбогатеть, если бы случилось что-то, чего не случилось и, очевидно, не могло случиться. Грубб и Теклтон тоже находился здесь и занимал общество, явно чувствуя себя так же уютно и в своей стихии, как чувствовал бы себя молодой лосось на вершине Большой египетской пирамиды.

– Мэй! Милая моя подружка! – вскричала Крошка, бросаясь навстречу девушке. – Как я рада тебя видеть!

Подружка была так же рада и довольна, как сама Крошка, и можете мне поверить, что, когда они обнялись, на них было очень приятно смотреть. Теклтон несомненно обладал тонким вкусом – Мэй была прехорошенькая.

Бывает, знаете ли, что вы привыкнете к какому-нибудь хорошенькому личику и вам случится увидеть его рядом с другим хорошеньким личиком; и первое лицо в сравнении со вторым покажется вам тогда некрасивым, увядшим и, пожалуй, не заслуживающим вашего высокого мнения о нем. Но тут этого не случилось, потому что красота Мэй только подчеркивала красоту Крошки, а красота Крошки – красоту Мэй; и это казалось естественным и приятным, и жаль было – чуть не сказал Джон Пирибингл, входя в комнату, – что они не родные сестры, – только этого и оставалось еще пожелать.

Теклтон принес баранью ногу и, ко всеобщему удивлению, еще торт (но маленькая расточительность – не беда, ко-

гда дело идет о нашей невесте: ведь женимся мы не каждый день), а вдобавок к этим лакомствам появились паштет из телятины с ветчиной и «прочая снедь», как выражалась миссис Пирибингл, а именно: орехи, апельсины, пирожные и тому подобная мелочь. Когда на стол было поставлено угощение, в том числе и доля участия самого Калеба – огромная деревянная миска с дымящимся картофелем (с Калеба взяли торжественное обещание никогда не подавать никаких других яств), Теклтон отвел свою будущую тещу на почетное место. Стремясь к вящему украшению высокаторжественного пиршества, величавая старушка нацепила на себя чепец, долженствовавший внушать благоговейный ужас легкомысленной молодежи. Кроме того, на руках у нее были перчатки. Хоть умри, но соблюдай приличия!

Калёб сидел рядом с дочерью, Крошка – рядом со своей школьной подругой, а славный возчик сел в конце стола. Мисс Слоубой поместили вдаль от всякой мебели – кроме того стула, на котором она сидела, – чтоб она ни обо что не могла ушибить голову малыша.

Тилли все время таращила глаза на игрушки и куклы, но и они таращили глаза на нее и всех гостей. Почтенные пожилые джентльмены у подъездов (все они проявляли кипучую деятельность), горячо интересовались собравшимся обществом и потому иногда приостанавливались перед прыжком, как бы прислушиваясь к беседе, а потом лихо перескакивали через палку все вновь и вновь, великое множество

раз, не задерживаясь, чтобы перевести дыхание, и, видимо, бурно наслаждаясь всем происходящим.

Если бы эти пожилые джентльмены были склонны злорадоваться при виде разочарования Теклтона, они на этот раз получили бы полное удовлетворение. Теклтону было очень не по себе, и чем больше оживлялась его будущая жена в обществе Крошки, тем меньше ему это нравилось, хотя именно для этого он устроил их встречу. Он был настоящей собакой на сене, этот Теклтон, и когда женщины смеялись, а он не знал – чему, он тотчас забирал себе в голову, что они, наверное, смеются над ним.

– Ах, Мэй! – промолвила Крошка. – Подумать только, до чего все изменилось! Вот поболтаешь о веселых школьных временах и сразу помолодеешь.

– Но ведь вы не так уж стары! – проговорил Теклтон.

– А вы посмотрите на моего степенного, работающего супруга, – возразила Крошка. – Он меня старит лет на двадцать, не меньше. Ведь правда, Джон?

– На сорок, – ответил Джон.

– Не знаю уж, на сколько вы будете старить Мэй! – со смехом сказала Крошка. – Пожалуй, в следующий день ее рождения ей стукнет сто лет.

– Ха-ха! – засмеялся Теклтон. Но смех его звучал пусто, как барабан. И лицо у него было такое, как будто он с удовольствием свернул бы шею Крошке.

– Подумать только! – продолжала Крошка. – Помнишь,

Мэй, как мы болтали в школе о том, каких мужей мы себе выберем? Своего мужа я воображала таким молодым, таким красивым, таким веселым, таким пылким! А мужа Мэй!.. Подумать только! Прямо не знаешь, плакать или смеяться, когда вспомнишь, какими мы были глупыми девчонками.

Мэй, очевидно, знала, что делать ей: она вспыхнула, и слезы показались у нее на глазах.

– Иногда мы даже прочили себе кое-кого в женихи – настоящих, не выдуманных молодых людей, – сказала Крошка, – но нам и во сне не снилось, как все выйдет на самом деле. Я никогда не прочила себе Джона, ну нет, я о нем и не думала! А скажи я тебе, что ты выйдешь замуж за мистера Теклтона, да ты бы, конечно, меня побила! Ведь побила бы, а, Мэй?

Мэй, правда, не сказала «да», но во всяком случае не сказала и «нет», да и никаким иным способом не дала отрицательного ответа.

Теклтон захохотал очень громко, прямо-таки загрохотал. Джон Пирибингл тоже рассмеялся, по обыкновению добродушно, с довольным видом, но смех его казался шепотом по сравнению с хохотом Теклтона.

– И, несмотря на это, вы ничего не смогли поделать, вы не смогли устоять против нас, да! – сказал Теклтон. – Мы здесь! Мы здесь! А где теперь ваши молодые женихи?

– Одни умерли, – ответила Крошка, – другие забыты. Некоторые, стой они здесь в эту минуту, не поверили бы, что

мы – это мы. Не поверили бы своим ушам и глазам, не поверили бы, что мы могли их забыть. Нет, скажи им об этом кто-нибудь, они не поверили бы ни одному слову!

– Крошка! – воскликнул возчик. – Что это ты так, женушка?

Она говорила так горячо, так страстно, что ее несомненно следовало призвать к порядку. Муж остановил ее очень мягко, ведь ему только хотелось заступиться за старика Теклтона, – так по крайней мере казалось ему самому, – но его замечание подействовало, и Крошка, умолкнув, не сказала ни слова больше. Но даже в ее молчании чувствовалось необычное беспокойство, и проницательный Теклтон, покосившись на нее своим полузакрытым глазом, заметил это и запомнил для каких-то своих целей.

Мэй не вымолвила ни слова, ни хорошего, ни плохого; она сидела очень тихо, опустив глаза и не выказывая никакого интереса ко всему происходящему. Тут вмешалась ее почтенная мамаша, заметив, что, во-первых, девушки по-девичьи и думают, а что было, то прошло, и пока молодые люди молоды и беспечны, они, уж конечно, будут вести себя как молодые и беспечные люди, и к этому добавила еще два-три не менее здравых и неоспоримых суждения. После этого она в порыве благочестия возблагодарила небо за то, что ее дочь Мэй была неизменно почтительной и послушной дочерью, но этого она, мать, не ставит себе в заслугу, хотя имеет все основания полагать, что Мэй стала такой дочерью толь-

ко благодаря материнскому воспитанию. О мистере Теклтоне она сказала, что в отношении нравственности он безупречен, а с точки зрения годности его для брака он очень завидный зять, в чем не может усомниться ни один разумный человек. (Это она проговорила с большим воодушевлением.) Касательно же семьи, в которую он скоро должен будет войти после того, как долго этого добивался, то мистеру Теклтону известно, – как полагает миссис Филдинг, – что хотя у этой семьи средства ограниченные, но она имеет основания считаться благородной, и если бы некоторые обстоятельства, до известной степени связанные с торговлей индиго – так и быть, она упомянет об этом, но говорить о них более подробно не будет, – если бы некоторые обстоятельства сложились иначе, семья эта, возможно, была бы весьма богатой. Затем она сказала, что не будет намекать на прошлое и упоминать о том, что дочь ее некоторое время отвергала ухаживания мистера Теклтона, а также не будет говорить целого ряда других вещей, которые тем не менее высказала, и весьма странно. В конце концов она заявила, что опыт и наблюдения привели ее к следующему выводу: те браки, в которых недостает того, что глупо и романтично называют любовью, неизменно оказываются самыми счастливыми, так что она предвидит в грядущем брачном союзе величайшее блаженство для супругов, – не страстное блаженство, но прочное и устойчивое. Речь свою она заключила, оповестив все общество о том, что завтрашний день есть тот день, ради которого

она только и жила, а когда он минует, ей останется лишь пожелать, чтобы ее положили в гроб и отправили на кладбище для избранных покойников.

На эти речи отвечать было нечего – счастливая особенность всех речей, не относящихся к делу, – и общество, изменив тему разговора, перенесло свое внимание на паштет из телятины с ветчиной, холодную баранину, картофель и торт. Заботясь о том, чтобы пирующие не забыли про пиво, Джон Пирибингл предложил тост в честь завтрашнего дня – дня свадьбы – и пригласил всех выпить по полному бокалу, до того как сам он отправится в путь.

Надо вам знать, что Джон обычно только отдыхал у Калеба и кормил здесь свою старую лошадь. Ему приходилось ехать дальше, еще четыре или пять миль, а вечером на обратном пути он заезжал за Крошкой и еще раз отдыхал перед отъездом домой. Таков был распорядок дня на всех этих пирушках, с тех пор как они были установлены.

Из числа присутствующих двое, не считая жениха и невесты, отнеслись к его тосту без особого сочувствия. Это были: Крошка, слишком взволнованная и расстроенная, чтобы принимать участие в мелких событиях этого дня, и Берта, которая поспешно встала и вышла из-за стола.

– До свидания! – решительно проговорил Джон Пирибингл, надевая толстое суконное пальто. – Я вернусь в обычное время. До свидания.

– До свидания, Джон! – откликнулся Калев.

Он произнес это машинально и так же машинально помахал рукой – в это время он смотрел на Берту, и на лице у него застыло тревожное, недоуменное выражение.

– До свидания, малец! – шутливо сказал возчик и, наклонившись, поцеловал спящего ребенка. Тилли Слоубой уже орудовала ножом и вилкой, а своего питомца положила (как ни странно, не ушибив его) в постельку, приготовленную Бертой. – До свидания! Наступит день, так я полагаю, когда ты сам выйдешь на холод, дружок, а твой старик отец останется покуривать трубку и греть свои ревматические кости у очага. Как думаешь? А где Крошка?

– Я здесь, Джон! – вздрогнув, откликнулась та.

– Ну-ка, – заметил возчик, громко хлопнув в ладоши, – где трубка?

– О трубке я забыла, Джон.

Забыла о трубке! Вот так чудеса! Она! Забыла о трубке!

– Я... я сейчас набью ее. Это быстро делается.

Однако сделала она это не очень быстро. Трубка, как всегда, лежала в кармане суконного пальто, вместе со сшитым Крошкой маленьким кисетом, из которого она брала табак; но теперь руки молодой женщины так дрожали, что запутались в завязках (хотя ручки у нее были очень маленькие и, конечно, могли бы высвободиться без труда), и возилась она очень долго. Трубку она набила и зажгла из рук вон плохо; а я-то всегда так расхваливал Крошку за эти маленькие услуги мужу! Теклтон зловеще следил за всей процедурой полу-

закрытым глазом, и всякий раз как взгляд его встречался со взглядом Крошки (или ловил его, ибо едва ли можно утверждать, что глаз Теклтона встречался когда-нибудь с глазами других людей; лучше сказать, что он был своего рода капканом, перехватывающим чужие взгляды), это чрезвычайно смущало миссис Пирибингл.

– Какая ты сегодня неловкая, Крошка! – сказал Джон. – Откровенно говоря, я сам набил бы трубку лучше тебя.

С этими добродушными словами он вышел, и вскоре целый оркестр в составе Джона, Боксера, старой лошади и повозки заиграл веселую музыку на дороге. Все это время Калев стоял как во сне, глядя все с тем же растерянным выражением лица на свою слепую дочь.

– Берта! – мягко проговорил Калев. – Что случилось? Как ты переменялась, милая, и – всего за несколько часов... с сегодняшнего утра. Ты была такой молчаливой и хмурой весь день! Что с тобой! Скажи!

– Ах, отец, отец! – воскликнула слепая девушка, заливаясь слезами. – Как жестока моя доля!

Прежде чем ей ответить, Калев провел рукою по глазам.

– Но вспомни, какой бодрой и счастливой ты была раньше, Берта! Какая ты хорошая, и сколько людей крепко любят тебя!

– Это-то и огорчает меня до глубины сердца, милый отец! Все обо мне так заботятся! Всегда так добры ко мне! Калев никак не мог понять ее.

– Быть... быть слепой, Берта, милая моя бедняжка, – запинаясь, проговорил он, – большое несчастье, но...

– Я никогда не чувствовала, что это несчастье! – вскричала слепая девушка. – Никогда не чувствовала этого вполне. Никогда! Вот только мне иногда хотелось увидеть тебя, увидеть его – только раз, милый отец, на одну минуточку, – чтобы узнать, какие они, те, кто мне так дорог, – она положила руки на грудь, – и кто хранится здесь! Чтобы узнать их и увериться в том, что я правильно их себе представляю. По временам (но тогда я была еще ребенком) я читала молитвы ночью и плакала при мысли о том, что твой образ и его образ, когда они поднимаются из моего сердца к небесам, может быть, не похожи на вас обоих. Но это горе жило во мне недолго. Оно проходило, и я снова была спокойной и довольной.

– И опять пройдет, – сказал Калев.

– Отец! О мой добрый, кроткий отец, будь ко мне снисходителен, если я недобрая! – воскликнула слепая девушка. – Не это горе так тяготит меня теперь!

Отец ее не мог сдержать слез; девушка говорила с такой искренностью и страстностью, но он все еще не понимал ее.

– Подведи ее ко мне, – сказала Берта. – Я не могу больше скрывать и таить это в себе. Подведи ее ко мне, отец!

Она догадалась, что он медлит, не понимая ее, и сказала:

– Мэй. Подведи Мэй!

Мэй услышала свое имя и, тихонько подойдя к Берте, до-

тронулась до ее плеча. Слепая девушка тотчас же повернулась и взяла ее за руки.

– Посмотри мне в лицо, милая моя, дорогая! – сказала Берта. – Прочти его, как книгу, своими прекрасными глазами. Скажи мне – ведь оно говорит только правду, да?

– Да, милая Берта.

Не опуская неподвижного, незрячего лица, по которому быстро текли слезы, слепая девушка обратилась к Мэй с такими словами:

– Всей душой своей, всеми своими мыслями я желаю тебе добра, милая Мэй! Из всех дорогих воспоминаний, какие сохранились в моей душе, ни одного нет дороже, чем память о тех многих-многих случаях, когда ты, зрячая, во всем блеске своей красоты, заботилась о слепой Берте, а это было еще в нашем детстве, если только слепая Берта могла когда-нибудь быть ребенком! Да благословит тебя небо! Да осветит счастье твой жизненный путь! Тем более, милая моя Мэй, – и Берта, придвинувшись к девушке, крепче прижалась к ней, – тем более, моя птичка, что сегодня весть о том, что ты будешь его женой, чуть не разбила мне сердце! Отец, Мэй, Мэри! О, простите меня ради всего, что он сделал, чтобы облегчить тоску моей темной жизни, и верьте мне – ведь бог свидетель, что я не могла бы пожелать ему жены, более достойной его!

Тут она выпустила руки Мэй Филдинг и ухватилась за ее платье движением, в котором мольба сочеталась с любовью.

Во время своей исповеди она опускалась все ниже и, наконец, упала к ногам подруги и спрятала слепое лицо в складках ее платья.

– Силы небесные! – воскликнул отец, сраженный правдой, которую он теперь узнал. – Неужто я обманывал ее с колыхели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!

Хорошо было для всех присутствующих, что Крошка, сияющая, услужливая, хлопотливая Крошка (ибо такой она и была при всех своих недостатках, хотя впоследствии вы, быть может, и возненавидите ее), хорошо было для всех присутствующих, говорю я, что Крошка находилась здесь, иначе трудно сказать, чем бы все это кончилось. Но Крошка, овладев собой, вмешалась в разговор, прежде чем Мри успела ответить, а Калев вымолвить хоть слово.

– Успокойся, милая Берта! Пойдем со мною! Возьми ее под руку, Мэй. Так! Видите, она уже успокоилась, и какая же она милая, что так заботится о нас, – говорила бодрая маленькая женщина, целуя Берту в лоб. – Пойдем, милая Берта. Пойдем! А добрый отец ее пойдет с нею: правда, Калев? Ну, конечно!

Да, в подобных случаях маленькая Крошка вела себя поистине благородно, и лишь закоренелые упрямыцы могли бы ей противостоять. Заставив бедного Калеба и его Берту уйти в другую комнату, чтобы утешить и успокоить друг друга так, как на это были способны лишь они сами, она вскоре примчалась назад (по пословице, «свежая, как ромашка», но

я скажу: еще свежее) и стала на страже около важной особы в чепце и перчатках, чтобы милая старушка ни о чем не догадалась.

– Принеси-ка мне нашего бесценного малыша, Тилли, – сказала Крошка, придвигая стул к очагу, – а пока он будет лежать у меня на коленях, миссис Филдинг расскажет мне, как лучше ухаживать за грудными младенцами, и объяснит всякие вещи, в которых я совершенно не разбираюсь. Не правда ли, миссис Филдинг?

Даже Уэльский великан, который, согласно народному выражению, был такой «простак», что проделал сам над собой роковую хирургическую операцию, подражая фокусу, исполненному во время завтрака его злейшим врагом⁵, – даже этот простодушный великан и тот не попался бы в расставленную ему западню с такой легкостью, как попалась наша старушка в этот хитроумный капкан. Дело в том, что Теклтон к тому времени куда-то вышел, а все остальные минуты две разговаривали, предоставив старушку самой себе, и этого было совершенно достаточно, чтобы она потом целые сутки предавалась размышлениям о своем достоинстве и опла-

⁵ ...подразжал, фокусу, исполненному во время завтрака его злейшим врагом. – В английской народной сказке «Джек – победитель великанов» герой, смысленный крестьянский паренек, так перехитрил уэльского великана: подсунув себе под куртку кожаный мешок, он незаметно сложил в него огромный мучной пудинг, которым потчевал его великан, а потом, пообещав показать ему чудо, распорол ножом мешок и достал пудинг. Глупый великан, не желая отстать от него, тоже схватил нож, вспорол себе живот и умер.

кивала упомянутый таинственный кризис в торговле индиго. Однако столь подобающее уважение к ее опыту со стороны молодой матери было так неотразимо, что, слегка поскромничав, старушка начала самым любезным тоном просвещать собеседницу и, сидя прямо, как палка, против лукавой Крошки, за полчаса перечислила столько верных домашних средств и рецептов, что, если бы их применить, они могли бы прикончить и вконец уничтожить юного Пирибингла, даже будь он младенцем Самсоном.

Желая переменить тему разговора, Крошка занялась шитьем (она носила в кармане содержимое целой рабочей корзинки, но как ей это удавалось, я не знаю), потом понянчила ребенка, потом еще немного пошила, потом немного пошептала с Мэй (в то время как почтенная старушка дремала) и, таким образом, занятая по своему обыкновению то тем, то другим, даже не заметила, как прошел день. А когда стемнело и пришла пора выполнить один важный пункт устава этих пирушек а именно: взять на себя хозяйственные обязанности Берты, Крошка помешала огонь, вымела очаг, накрыла стол к чаю, опустила занавеску и зажгла свечу. Потом она сыграла одну-две песни на самодельной арфе, которую Калек смастерил для Берты, и сыграла прекрасно, потому что природа так устроила ее нежные маленькие ушки, что они были в дружбе с музыкой, как подружились бы и с драгоценными серьгами, если бы подобные серьги у Крошки были. Тем временем пробил час, назначенный для чаепития, и Теклтон вернулся,

намереваясь принять участие в трапезе и общей беседе.

Калёб с Бертой незадолго перед тем возвратились, и Калёб сел за вечернюю работу. Но бедняга не мог сосредоточиться на ней, так тревожился он за дочь и так терзался угрызениями совести. Жаль было смотреть, как он сидел, праздный, на своей рабочей скамейке, грустно глядя на Берту, а лицо его, казалось, говорило: «Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце?»

Когда же наступил вечер и чаепитие кончилось, а Крошка уже успела перемыть все чашки и блюда, короче говоря (я все-таки должен перейти к этому – откладывать бесполезно), когда подошло время возчику вернуться, а всем – прислушиваться к любому отдаленному стуку колес, она снова переменилась: она то краснела, то бледнела и очень волновалась. Но не так, как волнуются примерные жены, прислушиваясь, не идут ли их мужья. Нет, нет и нет! Это было совсем другое волнение.

Стук колес. Топот копыт. Лай собаки. Звуки постепенно приближаются. Боксер царапает лапой дверь!

– Чьи это шаги? – вскрикнула Берта, вскочив с места.

– Чьи шаги? – отозвался возчик, стоя в дверях; загорелое лицо его было красно от резкого ночного ветра, словно ягода остролиста. – Мои, конечно!

– Другие шаги! – сказала Берта. – Шаги человека, что идет за вами!

– Ее не проведешь, – со смехом заметил возчик. – Входи-

те, сэр. Вас примут радушно, не бойтесь!

Он говорил очень громко, и тут в комнату вошел глухой джентльмен.

– Вам он немножко знаком, Калев, вы его один раз видели, – сказал возчик. – Вы, конечно, позволите ему передохнуть здесь, пока мы не тронемся в путь?

– Конечно, Джон, пожалуйста!

– Вот при ком совершенно безопасно говорить секреты, – сказал Джон. – У меня здоровые легкие, но можете мне поверить, трудненько им приходится, когда я с ним говорю. Садитесь, сэр! Все здесь – ваши друзья и рады видеть вас!

Сделав это заверение таким громким голосом, что не приходилось сомневаться в том, что легкие у него и впрямь здоровые, Джон добавил обычным тоном:

– Все, что ему нужно, это кресло у очага – будет себе сидеть и благодушно посматривать по сторонам. Ему угодить легко.

Берта напряженно прислушивалась к разговору. Когда Калев подвинул гостю кресло, она подозвала отца к себе и тихо попросила описать наружность посетителя. Отец исполнил ее просьбу (на этот раз, не погрешив против истины – описание его было совершенно точным), и тогда она впервые после прихода незнакомца пошевелинулась, вздохнула и, по видимому, перестала им интересоваться.

Добрый возчик был в прекрасном расположении духа и больше чем когда-либо влюблен в свою жену.

– Нынче Крошка была нерасторопная! – сказал он, становясь рядом с нею, поодаль от остальных, и обнимая ее здоровенной рукой. – И все-таки я почему-то люблю ее. Взгляни туда, Крошка!

Он показал пальцем на старика. Она опустила глаза. Мне кажется, она задрожала.

– Он – ха-ха-ха! – он в восторге от тебя! – сказал возчик. – Всю дорогу ни о чем другом не говорил. Ну, что ж, он славный старикан. За то он мне и нравится.

– Желала бы я, чтобы он подыскал себе лучший предмет для восхищения, – проговорила она, беспокожно оглядывая комнату, а Теклтону в особенности.

– Лучший предмет для восхищения! – жизнерадостно вскричал Джон. – Но такого не найдется. Ну, долой пальто, долой толстый шарф, долой всю теплую одежду, – и давайте уютно проведем полчасика у огонька! Я к вашим услугам, миссис. Не хотите ли сыграть со мной партию в криббедж? Вот и прекрасно! Крошка, карты и доску!⁶ И стакан пива, жenuшка, если еще осталось.

Приглашение поиграть в карты относилось к почтенной старушке, которая приняла его весьма милостиво и с готовностью, и они вскоре занялись игрой. Вначале возчик то и дело с улыбкой оглядывался вокруг, а по временам, в затруд-

⁶ *Крошка, карты и доску!* – В карточной игре криббедж счет ведется на особой доске с 61 отверстием на каждого игрока. В эти отверстия втыкаются шпешки в соответствии с выигранными очками.

нительных случаях, подзывал к себе Крошку, чтобы она заглянула ему через плечо в карты, и советовался с нею. Но его противница настаивала на строгой дисциплине в игре и вдобавок частенько поддавалась свойственной ей слабости – втыкать в доску больше шпеньков, чем ей полагалось, а все это требовало с его стороны такой бдительности, что он уже ничего другого не видел и не слышал. Таким образом, карты постепенно поглотили все внимание Джона, и он ни о чем другом не думал, как вдруг чья-то рука легла на его плечо, и, вернувшись к действительности, он увидел Теклтона.

– Простите за беспокойство... но прошу вас... на одно слово. Немедленно!

– Мне ходить, – ответил возчик. – Решительная минута!

– Это верно, что решительная, – сказал Теклтон. – Пойдемте-ка!

В лице его было нечто такое, что заставило возчика немедленно встать и поспешно спросить, в чем дело.

– Тише! – сказал Теклтон. – Джон Пирибингл, все это очень огорчает меня. Искренне огорчает. Я опасался этого. Я с самого начала подозревал это.

– Что такое? – спросил возчик испуганно.

– Тише! Пойдемте, и я вам покажу.

Возчик последовал за ним, не говоря ни слова. Они пересекли двор под сияющими звездами и через маленькую боковую дверь прошли в контору Теклтона, где было оконце, которое выходило в склад, запертый на ночь. В конторе было

темно, но в длинном, узком складе горели лампы, и потому оконце было ярко освещено.

– Одну минуту! – проговорил Теклтон. – Вы можете заглянуть в это окно, как вы думаете?

– Почему же нет? – спросил Джон.

– Еще минутку! – сказал Теклтон. – Не применяйте насилия. Это бесполезно. И это опасно. Вы сильный человек и не успеете оглянуться, как совершите убийство.

Возчик взглянул ему в лицо и отпрянул назад, как будто его ударили. Одним прыжком он очутился у окна и увидел...

О тень, омрачившая домашний очаг! О правдивый сверчок! О вероломная жена!

Джон увидел ее рядом со стариком, но это был уже не старик – он держался прямо, молодежато, и в руках у него был парик с седыми волосами, при помощи которого он проник в осиротевший теперь, несчастный дом. Джон увидел, что Крошка слушает незнакомца, а тот наклонил голову и шепчет ей что-то на ухо; и она позволила ему обнять ее за талию, когда они медленно направлялись по тускло освещенной деревянной галерее к двери, через которую вошли. Он увидел, как они остановились, увидел, как она повернулась (это лицо, которое он так любил, в какой страшный час довелось Джону смотреть на него!), увидел, как обманщица своими руками надела парик на голову спутника и при этом смеялась над доверчивым мужем!

В первый миг он сжал в кулак могучую правую руку, точно

готовая свалить с ног льва. Но сейчас же разжал ее и заслонил ладонью глаза Теклтону (ибо он все еще любил Крошку, даже теперь), а когда Крошка и незнакомец ушли, ослабел, как ребенок, и рухнул на конторский стол.

Закутанный до подбородка, он потом долго возился с лошадыю и с посылками, и вот, наконец, Крошка, готовая к отъезду, вошла в комнату.

– Едем, милый Джон! Спокойной ночи, Мэй! Спокойной ночи, Берта.

Как могла она расцеловаться с ними? Как могла она быть радостной и веселой при прощании? Как могла смотреть им в лицо, не краснея? Оказывается, могла. Теклтон внимательно наблюдал за нею, и она все это проделала.

Тилли, укачивая малыша, раз десять прошла мимо Теклтона, повторяя сонным голосом:

– Значит, вести о том, что они будут их женами, чуть не разбили им сердце, и, значит, отцы обманывали их с колыбелей, чтобы под конец разбить им сердца!

– Ну, Тилли, давай мне малыша! Спокойной ночи, мистер Теклтон. А где Джон, куда же он запропастился?

– Он пойдет пешком, поведет лошадь под уздцы, – сказал Теклтон, подсаживая ее в повозку.

– Что ты выдумал, Джон? Идти пешком? Ночью?

Закутанный возчик торопливо кивнул, а коварный незнакомец и маленькая нянька уже уселись на свои места, и старая лошадка тронулась. Боксер, ни о чем не подозревающий

Боксер, убежал вперед, отбегал назад, бегал вокруг повозки и лаял торжествующе и весело, как всегда.

Теклтон тоже ушел – провожать Мэй и ее мать, а бедный Калев сел у огня рядом с дочерью, встревоженный до глубины души, полный раскаяния, и, грустно глядя на девушку, твердил про себя: «Неужто я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы под конец разбить ей сердце!»

Игрушки, которые были заведены ради забавы малыша, давно уже остановились, так как завод их кончился. В этой тишине, освещенные слабым светом, невозмутимо спокойные куклы, борзые кони-качалки с выпученными глазами и раздутыми ноздрями, пожилые джентльмены с подгибающимися коленями, стоящие скрючившись у подъездов, щелкунчики, строящие рожи, даже звери, попарно шествующие в ковчег, точно пансионерки на прогулке, – все они как будто оцепенели от изумления; неужели могло так случиться, что Крошка оказалась неверной, а Теклтон любимым!

Песенка третья

Голландские часы в углу пробили десять, а возчик все еще сидел у очага. Он был так потрясен и подавлен горем, что, должно быть, напугал кукушку, и та, поспешив прокуковать свои десять мелодичных возгласов, снова скрылась в мавританском дворце и захлопнула за собою дверцу, словно не выдержав этого неприятного зрелища.

Если бы маленький косец вооружился острейшей из кос и с каждым ударом часов пронзал ею сердце возчика, он и то не мог бы нанести ему такие глубокие раны, какие нанесла Крошка.

Это сердце было так полно любви к ней, так связано с нею бесчисленными нитями чудесных воспоминаний, сплетавшихся день за днем из повседневных и разнообразных проявлений ее нежности; в это сердце она внедрилась так мягко и крепко; это сердце было так цельно, так искренне в своей верности, в нем таилась такая сила добра и неспособность ко злу, что вначале оно не могло питать ни гнева, ни мести, а могло лишь вмещать образ своего разбитого кумира.

Но медленно, очень медленно, в то время как возчик сидел, задумавшись, у своего очага, теперь холодного и потухшего, другие, гневные мысли начали подниматься в нем, подобно тому как резкий ветер поднимается к ночи. Незнакомец сейчас находится под его опозоренным кровом. Три

шага – и Джон очутится у двери в его комнату. Один удар выбьет ее. «Вы не успеете оглянуться, как совершите убийство», – сказал Теклтон. Но какое же это убийство, если он даст возможность подлому негодяю схватиться с ним врукопашную? Ведь тот моложе.

Не вовремя пришла ему на ум эта мысль, нехороша она была для него. Злая эта была мысль, и она влекла его к мести, а месть способна была превратить его уютный дом в обитель привидений, мимо которой одинокие путники будут бояться идти ночью и где при свете затуманенной луны робкие люди увидят в разбитых окнах тени дерущихся и в бурю услышат дикие крики.

Тот моложе! Да, да! Тот любит ее и завоевал сердце, которое он, ее муж, не смог разбудить. Тот любит ее, и она избрала его еще в юности, она думала и мечтала о нем, она тосковала по нем, когда муж считал ее такой счастливой. Какая мука узнать об этом!

В это время она была наверху и укладывала спать малыша. Потом спустилась вниз и, видя, что Джон сидит, Задумавшись, у очага, близко подошла к нему, и – хотя он не услышал ее шагов, ибо душевные терзания сделали его глухим ко всем звукам, – придвинула свою скамеечку к его ногам. Он увидел ее только тогда, когда она коснулась его руки и заглянула ему в лицо.

Удивленно? Нет. Так ему показалось сначала, и он снова взглянул на нее, чтобы убедиться в этом. Нет, не удивлен-

но. Внимательно, заботливо, но не удивленно. Потом лицо ее стало тревожным и серьезным, потом снова изменилось, и на нем заиграла странная, дикая, страшная улыбка. – Крошка угадала его мысли, стиснула руками лоб, опустила голову, и Джон уже ничего не видел, кроме ее распутившихся волос.

Будь он в этот миг всемогущим, он все равно пальцем не тронул бы ее, так живо в нем было возвышенное чувство милосердия. Но он не в силах был видеть, как она сжалась на скамеечке у его ног, там, где так часто сидела невинная и веселая, а он смотрел на нее с любовью и гордостью; и когда она встала и, всхлипывая, ушла, ему стало легче оттого, что место рядом с ним опустело и не нужно больше выносить ее присутствия, некогда столь желанного. Уже одно это было жесточайшей мукой, напоминавшей ему о том, каким, несчастным он стал теперь, когда порвались крепчайшие узы его жизни.

Чем сильнее он это чувствовал, тем лучше понимал, что предпочел бы видеть ее умершей с мертвым ребенком на груди, и тем больше возрастал его гнев на врага. Он огляделся по сторонам, ища оружия.

На стене висело ружье. Он снял его и сделал два-три шага к двери в комнату вероломного незнакомца. Он знал, что ружье заряжено. Смутная мысль о том, что справедливо было бы убить этого человека как дикого зверя, зародилась в его душе, разрослась и превратилась в чудовищного демона, который овладел ею целиком и неограниченно воцарился в

ней, изгнав оттуда все добрые мысли.

Впрочем, это сказано неточно. Демон не изгнал добрых мыслей, но хитроумно преобразил их. Превратил их в бичи, которые гнали Джона вперед. Обратил воду в кровь, любовь в ненависть, кротость в слепую ярость. Ее образ, печальный, смиренный, но все еще с неодолимой силой взывающий к нежности и милосердию, не покидал Джона, но именно он повлек его к двери и, заставив вскинуть ружье на плечо и приложить палец к курку, крикнул в нем: «Убей его! Пока он спит!»

Джон повернул ружье, чтобы стукнуть в дверь прикладом; вот он уже поднял его; вот проснулось в нем смутное желание крикнуть тому человеку, чтобы он, ради всего святого, спасся бегством в окно...

Но вдруг тлеющие угли вспыхнули, залили весь очаг ярким светом, и застрекотал сверчок!

Ни один звук, ни один человеческий голос – даже ее голос – не мог бы так тронуть и смягчить Джона. Он ясно услышал безыскусственные слова, которыми она некогда выражала свою привязанность к этому сверчку; ее взволнованное, правдивое лицо, каким оно было тогда, снова предстало перед его глазами; ее милый голос – ах, что это был за голос! какой уютной музыкой он звучал у домашнего очага честного человека! – ее милый голос все звенел и звенел, пробуждая лучшие его чувства.

Он отшатнулся от двери, как лунатик, разбуженный во

время страшного сновидения, и отложил ружье в сторону. Закрыв лицо руками, он снова сел у огня, и слезы принесли ему облегчение.

Но вот сверчок вышел из-за очага и предстал перед Джоном в образе сказочного призрака.

– «Я люблю его, – слышался голос этого призрака, повторявший слона, памятные Джону, – люблю за то, что слушала его столько раз, и за все те мысли, что посещали меня под его безобидную песенку».

– Да, так она сказала! – воскликнул возчик. – Это правда!

– «Наш дом – счастливый Дом, Джон, и потому я так люблю сверчка!»

– Поистине он был счастливым, – ответил возчик, – она всегда приносила счастье этому дому... до сих пор.

– Такая кроткая, такая хлопотунья, жизнерадостная, прилежная и веселая! – прозвучал голос.

– Иначе я не мог бы любить ее так, как любил, – отозвался возчик.

Голос поправил его:

– Как люблю. Возчик повторил:

– Как любил.

Но уже неуверенно. Язык не слушался его и говорил по-своему, за себя и за него.

Призрак поднял руку, словно заклиная его, и сказал:

– Ради твоего домашнего очага...

– Очага, который она погасила, – перебил его возчик.

– Очага, который она – так часто! – освещала и украшала своим присутствием, – сказал сверчок, – очага, который без нее был бы просто грудой камней, кирпича и заржавленного железа, но который благодаря ей стал алтарем твоего дома; а на этом алтаре ты каждый вечер предавал закланию какую-нибудь мелкую страсть, себялюбивое чувство или заботу и приносил в дар душевное спокойствие, доверие и сердце, переполненное любовью, так что дым этого бедного очага поднимался к небу, благоухая сладостней, чем самые драгоценные ароматы, сжигаемые на самых, драгоценных жертвенниках во всех великолепных храмах мира!.. Ради твоего домашнего очага, в этом тихом святилище, овеванный нежными воспоминаниями, услышь ее! Услышь меня! Услышь все, что говорит на языке твоего очага и дома!

– И защищает ее? – спросил возчик.

– Все, что говорит на языке твоего очага и дома, не может не защищать ее! – ответил сверчок. – Ибо все это говорит правду.

И пока возчик по-прежнему сидел в раздумье, подперев голову руками, призрак сверчка стоял рядом с ним, могуществом своим внушая ему свои мысли и показывая их ему, как в зеркале или на картине. Он был не один, этот призрак. Из кирпичей очага, из дымохода, из часов, трубки, чайника и колыбели; с пола, со стен, с потолка и лестницы; из повозки во дворе, из буфета в доме и всей хозяйственной утвари; из каждой вещи и каждого места, с которыми она сопри-

касалась и которые вызывали в душе ее несчастного мужа хоть одно воспоминание о ней, – отовсюду толпой появлялись феи. И они не только стояли рядом с Джоном, как сверчок, – они трудились не покладая рук. Они воздавали всяческий почет ее образу. Они хватали Джона за полы и заставляли смотреть туда, где возникал образ Крошки. Они теснились вокруг нее, и обнимали ее, и бросали цветы ей под ноги. Своими крохотными ручонками они пытались возложить венец на ее прекрасную головку. Они всячески выражали свою любовь и привязанность к ней; они говорили без слов, что нет на свете ни одного безобразного, злого или осуждающего существа, которое знало бы этот образ, ибо знают его только они, шаловливые феи, и восхищаются им.

Мысли Джона были верны ее образу. Она всегда жила в его душе.

Вот она села с иголкой перед огнем и навеваает про себя. Такая веселая, прилежная, стойкая маленькая Крошка! Феи тотчас же кинулись к Джону, будто сговорившись, и все как одна впились в него глазами, словно спрашивая: «Неужели это та легкомысленная жена, которую ты оплакиваешь?»

Снаружи послышалась веселая музыка, громкие голоса и смех. Толпа молодежи ворвалась в дом; тут были Мэй Филдинг и множество хорошеньких девушек. Крошка была красивей всех и такая же молоденькая, как любая из них. Они пришли, чтобы позвать ее с собой. Они собирались на танцы. А чьи ножки, как не ее, были рождены именно для танцев?

Но Крошка засмеялась, покачала головой и с таким ликующим вызовом показала на своюстряпню, варившуюся на огне, и на стол, накрытый к обеду, что стала еще милее прежнего. И вот она весело распрощалась с ними, кивая своим незадачливым кавалерам, одному за другим, по мере того как они уходили, но кивая с таким шутливым равнодушием, что одного этого было бы довольно, чтобы они немедленно пошли топиться, если только они были влюблены в нее; а так оно, наверное, и было в той или иной степени, – ведь никто не мог устоять против нее. Однако равнодушие было не в ее характере. О нет! Вскоре к дверям подошел некий возчик, и – милая! – с какой же радостью она его встретила!

И опять все феи разом кинулись к Джону и, пристально глядя на него, как будто спросили: «Неужели это жена, которая тебя покинула?»

Тень упала на зеркало или картину – называйте это как хотите. Огромная тень незнакомца в том виде, в каком он впервые стоял под их кровом, и она закрыла поверхность этого зеркала или картины, затмив все остальное. Но шустрые феи, усердные, как пчелки, так старались, что стерли эту тень, и поверхность снова стала чистой. И Крошка появилась опять, все такая же ясная и красивая.

Она качала в колыбели своего малыша и тихо пела ему, положив головку на плечо двойника того задумавшегося человека, близ которого стоял волшебный сверчок.

Ночь – я хочу сказать, настоящая ночь, не та, что проте-

кала по часам фей, – теперь кончалась, и когда возчик мысленно увидел жену у колыбели ребенка, луна вырвалась из-за облаков и ярко засияла в небе. Быть может, какой-то тихий, мягкий свет засиял и в душе Джона: теперь он уже более спокойно мог думать о том, что произошло.

Тень незнакомца по временам падала на зеркало – огромная и отчетливая, – но она была уже не такой темной, как раньше. Всякий раз, как она возникала, феи издавали горестный стон и, с непостижимой быстротой двигая ручками и ножками, соскребали ее прочь. А всякий раз, как они добивались до Крошки и снова показывали ее Джону, ясную и красивую, они громко ликовали.

Они всегда показывали ее красивой и ясной, потому что они были духами семейного очага, которых всякая лож убивает, и раз они могли знать только правду, то чем же была для них Крошка, как не тем деятельным, сияющим, милым маленьким созданием, которое было светом и солнцем в доме возчика?!

Феи пришли в необычайное волнение, когда показали, как она с малышом на руках болтает в кучке благоразумных старух матерей, делая вид, будто сама она необычайно почтенная и семейственная женщина, и как она, степенно, сдержанно, по-старушечьи опираясь на руку мужа, старается (она, такой еще не распустившийся цветок!) убедить их, что она отреклась от всех мирских радостей, а быть матерью для нее не ново; но в то же мгновение феи показали, как она смеется

над возчиком за то, что он такой неловкий, как поправляет воротник его рубашки, чтобы придать мужу нарядный вид, и весело порхает по этой самой комнате, уча его танцевать!

Но когда феи показали ему Крошку вместе со слепой девушкой, они повернулись и уставились на него во все глаза, – ибо если Крошка вносила бодрость и оживление всюду, где ни появлялась, то в доме Калеба Пламмера эти ее качества, можно сказать, выростали в целую гору и переливались через край. Любовь слепой девушки к Крошке, ее вера в подругу, ее признательность; милое старание Крошки уклониться от выражений благодарности; искусные уловки, с помощью которых она заполняла каждую минуту своего пребывания у Берты каким-нибудь полезным занятием по хозяйству, и трудилась изо всех сил, делая вид, будто отдыхает; ее щедрые запасы неизменных лакомств в виде паштета из телятины с ветчиной и пива в бутылках; ее сияющее личико, когда, дойдя до двери, она оглядывалась, чтобы бросить на друзей последний прощальный взгляд; ее удивительное умение казаться неотъемлемой принадлежностью мастерской игрушек, так что вся она, начиная с аккуратной ножки и до самой маковки, представлялась здесь чем-то необходимым, без чего нельзя обойтись, – все это приводило фей в восторг и внушало им любовь к Крошке. А один раз они все вместе с мольбой взглянули на возчика и, в то время как некоторые из них прятались в платье Крошки и ласкали ее, как будто проговорили: «Неужели это жена, обманувшая твое доверие?»

Не раз, не два и не три за время этой долгой ночи, проведенной Джоном в размышлениях, феи показывали ему, как Крошка сидит на своей любимой скамеечке, поникнув головой, сжав руками лоб, окутанная распустившимися волосами. Такою он видел ее в последний раз. А когда они заметили, как она печальна, они даже не повернулись, чтобы взглянуть на возчика, а столпившись вокруг нее, утешали ее, целовали и торопились выразить ей свое сочувствие и любовь, а о нем позабыли окончательно.

Так прошла ночь. Луна закатилась; звезды побледнели, настал холодный рассвет; взошло солнце. Возчик все еще сидел, задумавшись, у очага. Он просидел здесь, опустив голову на руки, всю ночь. И всю ночь верный сверчок стрекотал за очагом. Всю ночь Джон прислушивался к его голоску. Всю ночь домашние феи хлопотали вокруг него. Всю ночь она, Крошка, нежная и непорочная, являлась в зеркале, кроме тех мгновений, когда на него падала некая тень.

Джон встал, когда уже совсем рассвело, умылся и оделся. Сегодня он не мог бы спокойно заниматься своей обычной работой – у него на это не хватило бы духу, – но это не имело значения, потому что сегодня был день свадьбы Теклтона, и возчик заранее нашел себе заместителя. Он собирался пойти вместе с Крошкой в церковь на венчание. Но теперь об этом не могло быть и речи. Сегодня исполнилась годовщина их свадьбы. Не думал он, что такой год может так кончиться!

Возчик ожидал, что Теклтон заявится к нему спозаранку,

и не ошибся. Он всего лишь несколько минут ходил взад и вперед мимо дверей своего дома, как вдруг увидел, что фабрикант игрушек едет по дороге в карете. Когда карета подъехала, Джон заметил, что Теклтон принарядился к свадьбе и украсил голову своей лошади цветами и бантами.

Конь больше смахивал на жениха, чем сам Теклтон, чей полузакрытый глаз казался еще более неприятно выразительным, чем когда-либо. Но возчик не обратил на это особого внимания. Мысли его были заняты другим.

– Джон Пирибингл! – сказал Теклтон с соболезнующим видом. – Как вы себя чувствуете сегодня утром, друг мой?

– Я плохо провел ночь, мистер Теклтон, – ответил возчик, качая головой, – потому что в мыслях у меня расстройство. Но теперь это прошло! Можете вы уделить мне с полчаса, чтобы нам поговорить наедине?

– Для этого я и приехал, – сказал Теклтон, вылезая из экипажа. – Не беспокойтесь о лошади. Обмотайте вожжи вокруг столба, дайте ей клочок сена, и она будет стоять спокойно.

Возчик принес сена из конюшни, бросил его лошади и вместе с Теклтоном направился к дому.

– Вы венчаетесь не раньше полудня, – проговорил возчик, – так, кажется?

– Да, – ответил Теклтон. – Времени хватит. Времени хватит.

Они вошли в кухню и увидели, что Тилли Слоубой стучит в дверь незнакомца, до которой было лишь несколько

шагов. Один ее очень красный глаз (Тилли плакала всю ночь напролет, потому что плакала ее хозяйка) приник к замочной скважине, а сама она стучала изо всех сил, и вид у нее был испуганный.

– Позвольте вам доложить, никто не отвечает, – сказала Тилли, оглядываясь кругом. – Только бы никто не взял да не помер, позвольте вам доложить!

Мисс Слоубой подчеркнула это человеколюбивое пожелание новыми разнообразными стуками и пинками в дверь, но они ни к чему не привели.

– Может быть, мне войти? – сказал Теклтон. – Тут что-то странное.

Возчик, отвернувшись от двери, сделал ему знак, чтобы он вошел, если хочет.

Итак, Теклтон пришел на помощь Тилли Слоубой. Он тоже принялся стучать и колотить ногой в дверь и тоже не добился никакого ответа. Но он догадался повернуть ручку двери и, когда дверь легко открылась, просунул голову в комнату, оглядел ее, вошел и тотчас выбежал вон.

– Джон Пирибингл, – шепнул Теклтон на ухо возчику, – надеюсь, ночью не произошло ничего... никаких безрассудств?

Возчик быстро обернулся к нему.

– Дело в том, что его нет, – сказал Теклтон, – а окно открыто! Правда, я не заметил никаких следов... но окно почти на одном уровне с садом... и я побаиваюсь, не было ли

здесь драки. А?

Он почти совсем зажмурил свой выразительный глаз и очень сурово смотрел на возчика. И глаз его, и лицо, и все тело резко перекошились. Казалось, он хотел вывинтить правду из собеседника.

– Успокойтесь, – сказал возчик. – Вчера вечером он вошел в эту комнату, не обиженный мною ни словом, ни делом, и с тех пор никто в нее не входил. Он ушел по доброй воле. Я с радостью убежал бы отсюда и всю жизнь ходил бы из дома в дом, прося милостыни, если бы только мог изменить этим прошлое и сделать так, чтобы он никогда к нам не являлся. Но он пришел и ушел. А у меня с ним покончено навсегда.

– Вот как! Мне кажется, он отделался довольно легко, – сказал Теклтон, усаживаясь в кресло.

Возчик не заметил его насмешки. Он тоже сел и на минуту прикрыл лицо рукой, прежде чем заговорить.

– Вчера вечером, – проговорил он, наконец, – вы показали мне мою жену, жену, которую я люблю, когда она тайно...

– И с нежностью, – ввернул Теклтон.

– ...встретилась с этим человеком наедине и помогла ему изменить его наружность. Хуже этого зрелища для меня быть не могло. И уж кому-кому, а вам я ни за что на свете не позволил бы показывать все это мне, если бы знал, что увижу.

– Признаюсь, у меня всегда были подозрения, – сказал Теклтон, – потому-то меня здесь и недолюбливали.

– Но так как именно вы показали мне это, – продолжал возчик, не обращая на него внимания, – и так как вы видели ее, мою жену, жену, которую я люблю, – и голос, и взгляд, и руки его стали тверже, когда он повторял эти слова, видимо исполняя какое-то обдуманное решение, – так как вы видели ее в такой порочащей обстановке, справедливо и нужно, чтобы вы взглянули на все это моими глазами и узнали, что делается у меня на сердце и какого я об этом мнения. Потому что я решился, – сказал возчик, пристально глядя на собеседника, – и теперь ничто не может изменить мое решение.

Теклтон пробормотал несколько общих одобрительных фраз насчет необходимости того или иного возмездия, однако вид собеседника внушал ему большой страх. Как ни прост, как ни грубоват был возчик, в наружности его было что-то достойное и благородное, а это бывает только в тех случаях, когда и душа человека возвышенная и честная.

– Я человек простой, неотесанный, – продолжал возчик, – и никаких заслуг не имею. Я человек не большого ума, как вам отлично известно. Я человек не молодой. Я люблю свою маленькую Крошку потому, что знал ее еще ребенком и видел, как она росла в родительском доме; люблю потому, что знаю, какая она хорошая; потому, что многие годы она была мне дороже жизни. Немало найдется мужчин, с которыми мне не сравниться, но я думаю, что никто из них не мог бы так любить мою маленькую Крошку, как люблю ее я!

Он умолк и некоторое время постукивал ногой по полу,

потом продолжал:

– Я часто думал, что хоть я и недостаточно хорош для нее, но буду ей добрым мужем, потому что знаю ей цену, быть может, лучше других; так вот я сам себя уговорил и начал подумывать, что, пожалуй, нам можно будет пожениться. И, наконец, так и вышло, и мы действительно поженились!

– Ха! – произнес Теклтон, многозначительно качнув головой.

– В себе самом я разбирался; я знал, что во мне происходит, знал, как крепко я ее люблю и как счастлив я буду с нею, – продолжал возчик, – но я недостаточно, – и теперь я это понимаю, – недостаточно думал о ней.

– Ну, конечно! – сказал Теклтон. – Взбалмошность, легкомыслие, непостоянство, страсть вызывать всеобщее восхищение! Не подумали! Вы все это упустили из виду! Ха!

– Не перебивайте, пока вы меня не поймете, – довольно сурово проговорил возчик, – а вам до этого еще далеко. Если вчера я одним ударом свалил бы с ног человека, посмеявшегося произнести хоть слово против нее, то сегодня я растоптал бы его, как червяка, будь он даже моим родным братом!

Фабрикант игрушек, пораженный, смотрел на него. Джон продолжал более мягким тоном.

– Подумал ли я о том, – говорил возчик, – что оторвал ее – такую молодую и красивую – от ее сверстниц и подруг, от общества, украшением которого она была, в котором она сияла, как самая яркая звездочка, и запер ее в своем унылом

доме, где ей день за днем пришлось скучать со мной? Подумал ли я о том, как мало я подходил к ее веселости, бойкости и как тоскливо было женщине такого живого нрава жить с таким человеком, как я, вечно занятым своей работой? Подумал ли я о том, что моя любовь к ней вовсе не заслуга и не мое преимущество перед другими, – ведь всякий, кто ее знает, не может не любить ее? Ни разу не подумал! Я воспользовался тем, что она во всем умеет находить радость и ниоткуда не ждет плохого, и женился на ней. Лучше бы этого не случилось! Для нее, не для меня.

Фабрикант игрушек смотрел на него не мигая. Даже полузакрытый глаз его теперь открылся.

– Благослови ее небо, – сказал возчик, – за то, что она так весело, так усердно старалась, чтобы я не заметил всего этого! И да простит мне небо, что я, тугодум, сам не догадался об этом раньше. Бедное дитя! Бедная Крошка! И я не догадывался ни о чем, хотя видел в ее глазах слезы, когда при ней говорили о таких браках, как наш! Ведь я сотни раз видел, что тайна готова сорваться с ее дрожащих губ, но до вчерашнего вечера ни о чем не подозревал! Бедная девочка! И я мог надеяться, что она полюбит меня! Я мог поверить, что она любит!

– Она выставляла напоказ свою любовь к вам, – сказал Теклтон. – Она так подчеркивала ее, что, сказать правду, это и начало возбуждать во мне подозрение.

И тут он заговорил о превосходстве Мэй Филдинг, кото-

рая, уж конечно, никогда не выставляла напоказ своей любви к нему, Теклтону.

– Она старалась, – продолжал бедный возчик, волнуясь больше прежнего, – я только теперь начинаю понимать, как усердно она старалась быть мне послушной и доброй женой, какой хорошей она была, как много она сделала, какое у нее мужественное и сильное сердце, и пусть об этом свидетельствует счастье, которое я испытал в этом доме! Это будет меня хоть как-то утешать и поддерживать, когда я останусь здесь один.

– Один? – сказал Теклтон. – Вот как! Значит, вы хотите что-то предпринять в связи с этим?

– Я хочу, – ответил возчик, – отнестись к ней с величайшей добротой и по мере сил загладить свою вину перед нею. Я могу избавить ее от каждодневных мучений неравного брака и стараний скрыть эти мученья. Она будет свободна – настолько, насколько я могу освободить ее.

– Загладить вину... перед ней! – воскликнул Теклтон, крутя и дергая свои огромные уши. – Тут что-то не так. Вы, конечно, не то хотели сказать.

Возчик схватил фабриканта игрушек за воротник и потряс его, как тростинку.

– Слушайте! – сказал он. – И постарайтесь правильно услышать. Слушайте меня. Понятно я говорю?

– Да уж куда понятнее, – ответил Теклтон.

– И говорю именно то, что хочу сказать?

– Да уж, видать, то самое.

– Я всю ночь сидел здесь у очага... всю ночь! – воскликнул возчик. – На том самом месте, где она часто сидела рядом со мной, обратив ко мне свое милое личико. Я вспомнил всю ее жизнь, день за днем. Я представил себе мысленно ее милый образ во все часы этой жизни. И, клянусь душой, она невинна, – если только есть на свете Высший суд, чтобы отличить невинного от виновного!

Верный сверчок за очагом! Преданные домашние феи!

– Гнев и недоверие покинули меня, – продолжал возчик, – и осталось только мое горе. В недобрый час какой то прежний поклонник, который был ей больше по душе и по годам, чем я, какой-то человек, которому она отказала из-за меня, возможно, против своей воли, теперь вернулся. В недобрый час она была застигнута врасплох, не успела подумать о том, что делает, и, став его сообщницей, скрыла его обман от всех. Вчера вечером она встретила с ним, пришла на свидание, и мы с вами это видели. Она поступила нехорошо. Но во всем остальном она невинна, если только есть правда на земле!

– Если вы такого мнения... – начал Теклтон.

– Значит, пусть она уйдет! – продолжал возчик. – Пусть уйдет и унесет с собой мои благословения за те многие счастливые часы, которые подарила мне, и мое прощение за ту муку, которую она мне причинила. Пусть уйдет и вновь обретет тот душевный покой, которого я ей желаю! Меня она не возненавидит! Она будет лучше ценить меня, когда я пе-

рестану быть ей помехой и когда цепь, которой я опутал ее, перестанет ее тяготить. Сегодня годовщина того дня, когда я увез ее из родного дома, так мало думая о ее благе. Сегодня она вернется домой, и я больше не буду ее тревожить. Родители ее нынче приедут сюда – мы собирались провести этот день вместе, – и они отвезут ее домой. Там ли она будет жить или где-нибудь еще, все равно я в ней уверен. Она покинет меня беспорочной и такой, конечно, проживет всю жизнь. Если же я умру – а я, возможно, умру, когда она будет еще молодая, потому что за эти несколько часов я пал духом, – она узнает, что я вспоминал и любил ее до своего смертного часа! Вот к чему приведет то, что вы показали мне. Теперь с этим покончено!

– О нет, Джон, не покончено! Не говори, что покончено! Еще не совсем. Я слышала твои благородные слова. Я не могла уйти украдкой, притвориться, будто не узнала того, за что я тебе так глубоко благодарна. Не говори, что с этим покончено, пока часы не пробьют снова!

Она вошла в комнату вскоре после прихода Теклтона и все время стояла здесь. На Теклтона она не взглянула, но от мужа не отрывала глаз. Однако она держалась вдали от него, насколько возможно дальше, и хотя говорила со страстной искренностью, но даже в эту минуту не подошла к нему ближе. Как не похоже это было на нее, прежнюю!

– Никакая рука не смастерит таких часов, что могли бы снова пробить для меня час, ушедший в прошлое, – сказал

возчик со слабой улыбкой, – но пусть будет так, дорогая, если ты этого хочешь. Часы пробьют скоро. А что я говорю, это неважно. Для тебя я готов и на более трудное дело.

– Так! – буркнул Теклтон. – Ну, а мне придется уйти, потому что, когда часы начнут бить, мне пора будет ехать в церковь. Всего доброго, Джон Пирибингл. Скорблю о том, что лишаюсь удовольствия видеть вас у себя. Скорблю об этой утрате и о том, чем она вызвана!

– Я говорил понятно? – спросил возчик, провожая его до дверей!

– Вполне!

– И вы запомните то, что я вам сказал?

– Ну, если вы принуждаете меня высказаться, – проговорил Теклтон, сперва, осторожности ради, забравшись в свой экипаж, – признаюсь, что все это было очень неожиданно, и я вряд ли это позабуду.

– Тем лучше для нас обоих, – сказал возчик. – Прощайте. Желаю вам счастья!

– Хотел бы и я пожелать того же самого вам, – отозвался Теклтон, – но не могу. Поэтому ограничусь тем, что только поблагодарю вас. Между нами (я, кажется, уже говорил вам об этом, я не думаю, чтобы мой брак был менее счастливым, оттого, что Мэй до свадьбы не слишком мне льстила и не выставляла напоказ своих чувств. Прощайте! Подумайте о себе!

Возчик стоял и смотрел ему вслед, пока Теклтон не отъе-

хал так далеко, что стал казаться совсем ничтожным – меньше цветов и бантов на своей лошади, а тогда Джон глубоко вздохнул и принялся ходить взад и вперед под ближними вязами, словно не находя себе места: ему не хотелось возвращаться в дом до тех пор, пока часы не начнут бить.

Маленькая жена его, оставшись одна, горько плакала; но по временам удерживалась от слез и, вытирая глаза, восклицала – какой у нее добрый, какой хороший муж! А раз или два она даже рассмеялась, да так радостно, торжествуя и непоследовательно (ведь плакала она не переставая), что Тилли пришла в ужас.

– О-у, пожалуйста, перестаньте! – хныкала Тилли. – И так уж хватает всего – впору уморить и похоронить младенчика, позвольте вам доложить!

– Ты будешь иногда приносить его сюда к отцу, Тилли, когда я уже не смогу больше оставаться здесь и перееду к родителям? – спросила ее хозяйка, вытирая глаза.

– О-у, пожалуйста, перестаньте! – вскричала Тилли, откидывая назад голову и испуская громкий вопль; в этот миг она была необыкновенно похожа на Боксера. – О-у, пожалуйста, не надо! О-у, что это со всеми сделалось и что все сделали со всеми, отчего все сделались такими несчастными! О-у-у-у!

Тут мягкосердечная Слоубой разразилась жестоким воплем, особенно громогласным, потому что она так долго сдерживалась; и она непременно разбудила бы малыша и напугала бы его так, что с ним, наверное, случилось бы серьезное

недомогание (скорей всего, родимчик), если бы не увидела вдруг Калеба Пламмера, который входил в комнату под руку с дочерью. Это напомнило Тилли о том, что надо вести себя прилично, и она несколько мгновений стояла как вкопанная, широко разинув рот и не издавая ни звука, а потом, ринувшись к кровати, на которой спал малыш, принялась отплясывать какой-то дикий танец, вроде пляски святого Витта, одновременно тыкаясь лицом и головой в постель и, по-видимому, получая большое облегчение от этих необыкновенных движений.

– Мэри! – проговорила Берта. – Ты не на свадьбе?

– Я говорил ей, что вас там не будет, сударыня, – прошептал Калед. – Я кое-что слышал вчера вечером. Но, дорогая моя, – продолжал маленький человек, с нежностью беря ее за обе руки, – мне все равно, что они говорят. Я им не верю. Я недорого стою, но скорее дал бы разорвать себя на куски, чем поверил бы хоть одному слову против вас!

Он обнял ее и прижал к себе, как ребенок прижимает куклу.

– Берта не могла усидеть дома нынче утром, – сказал Калед. – Я знаю, она боялась услышать колокольный звон в, не доверяя себе, не хотела оставаться так близко от них в день их свадьбы. Поэтому мы встали рано и пошли к вам.

Я думал о том, что я натворил, – продолжал Калед после короткой паузы, – и ругательски ругал себя за то, что причинил ей такое горе, а теперь прямо не знаю, как быть и что де-

лять. И я решил, что лучше мне сказать ей всю правду, только вы, сударыня, побудьте уж в это время со мною. Побудете? – спросил он, весь дрожа. – Не знаю, как это на нее подействует; не знаю, что она обо мне подумает; не знаю, станет ли она после этого любить своего бедного отца. Но для нее будет лучше, если она узнает правду, а я, что ж, я получу по заслугам!

– Мэри, – промолвила Берта, – где твоя рука? Ах, вот она, вот она! – Девушка с улыбкой прижала к губам руку Крошки и прилегла к ее плечу. – Вчера вечером я слышала, как они тихонько говорили между собой и за что-то осуждали тебя. Они были неправы.

Жена возчика молчала. За нее ответил Калев.

– Они были неправы, – сказал он.

– Я это знала! – торжествующе воскликнула Берта. – Так я им и сказала. Я и слышать об этом не хотела. Как можно осуждать ее! – Берта сжала руки Крошки и коснулась нежной щекой ее лица. – Нет! Я не настолько слепа.

Отец подошел к ней, а Крошка, держа ее за руку, стояла с другой стороны.

– Я всех вас знаю, – сказала Берта, – и лучше, чем вы думаете. Но никого не знаю так хорошо, как ее. Даже тебя, отец. Из всех моих близких нет ни одного и вполнину такого верного и честного человека, как она. Если бы я сейчас прозре-ла, я нашла бы тебя в целой толпе, хотя бы ты не промолвила ни слова! Сестра моя!

– Берта, дорогая! – сказал Калев. – У меня кое-что лежит на душе, и я хотел бы тебе об этом сказать, пока мы здесь одни. Выслушай меня, пожалуйста! Мне нужно признаться тебе кое в чем, милая.

– Признаться, отец?

– Я обманул тебя и сам совсем запутался, дитя мое, – сказал Калев, и расстроенное лицо его приняло покаянное выражение. – Я погрешил против истины, жалея тебя, и поступил жестоко.

Она повернула к нему изумленное лицо и повторила:

– Жестоко?

– Он осуждает себя слишком строго, Берта, – промолвила Крошка. – Ты сейчас сама это скажешь. Ты первая скажешь ему это.

– Он... был жесток ко мне! – воскликнула Берта с недоверчивой улыбкой.

– Невольно, дитя мое! – сказал Калев. – Но я был жесток, хотя сам не подозревал об этом до вчерашнего дня. Милая моя слепая дочка, выслушай и прости меня! Мир, в котором ты живешь, сердце мое, не такой, каким я его описывал. Глаза, которым ты доверялась, обманули тебя.

По-прежнему обратив к нему изумленное лицо, девушка отступила назад и крепче прижалась к подруге.

– Жизнь у тебя трудная, бедняжка, – продолжал Калев, – а мне хотелось облегчить ее. Когда я рассказывал себе о разных предметах и характере людей, я описывал их неправильно-

но, я изменял их и часто выдумывал то, чего на самом деле не было, чтобы ты была счастлива. Я многое скрывал от тебя, я часто обманывал тебя – да простит мне бог! – и окружал тебя выдумками.

– Но живые люди не выдумки! – торопливо проговорила она, бледнея и еще дальше отступая от него. – Ты не можешь их изменить!

– Я это делал, Берта, – покаянным голосом промолвил Кaleb. – Есть один человек, которого ты знаешь, милочка моя...

– Ах, отец! Зачем ты говоришь, что я знаю? – ответила она с горьким упреком. – Кого и что я знаю! – Ведь у меня нет поводыря! Я слепа и так несчастна!

В тревоге она протянула вперед руки, как бы нащупывая себе путь, потом в отчаянии и тоске закрыла ими лицо.

– Сегодня свадьба, – сказал Кaleb, – и жених – суровый, корыстный, придирчивый человек. Он много лет был жестоким хозяином для нас с тобой, дорогая моя. Он урод – и душой и телом. Он всегда холоден и равнодушен к другим. Он совсем не такой, каким я изображал его тебе, дитя мое. Ни в чем не похож!

– О, зачем, – вскричала слепая девушка, которая, как видно, невыразимо страдала, – зачем ты это сделал? Зачем ты переполнил мое сердце любовью, а теперь приходишь и, словно сама смерть, отнимаешь у меня того, кого я люблю? О небо, как я слепа! Как беспомощна и одинока!

Удрученный отец опустил голову, и одно лишь горе и раскаяние были его ответом.

Берта страстно предавалась своей скорби; как вдруг сверчок начал стрекотать за очагом, и услышала его она одна. Он стрекотал не весело, а как-то слабо, едва слышно, грустно. И звуки эти были так печальны, что слезы потекли из глаз Берты, а когда волшебный призрак сверчка, всю ночь стоявший рядом с возчиком, появился сзади нее и указал ей на отца, слезы ее полились ручьем.

Вскоре она яснее услышала голос сверчка и, несмотря на свою слепоту, почувствовала, что волшебный призрак стоит около ее отца.

– Мэри, – проговорила слепая девушка, – скажи мне, какой у нас дом? Какой он на самом деле?

– Это бедный дом, Берта, очень бедный и пустой. Он больше одной зимы не продержится – не сможет устоять против ветра и дождя. Он так же плохо защищен от непогоды, Берта, – продолжала Крошка тихим, но ясным голосом, – как твой бедный отец в своем холщовом пальто.

Слепая девушка, очень взволнованная, встала и отвела Крошку в сторону.

– А эти подарки, которыми я так дорожила, которые появлялись неожиданно, словно кто-то угадывал мои желания, и так меня радовали, – сказала она, вся дрожа, – от кого они были? Это ты их присылала?

– Нет.

– Кто же?

Крошка поняла, что Берта сама догадалась, и промолчала. Слепая девушка снова закрыла руками лицо, но совсем не так, как в первый раз.

– Милая Мэри, на минутку, на одну минутку! Отойдем еще чуть подальше. Вот сюда. Говори тише. Ты правдива, я знаю. Ты не станешь теперь обманывать меня, нет?

– Нет, конечно, Берта.

– Да, я уверена, что не станешь. Ты так жалеешь меня. Мэри, посмотри на то место, где мы только что стояли, где теперь стоит мой отец, мой отец, который так жалеет и любит меня, и скажи, что ты видишь.

– Я вижу старика, – сказала Крошка, которая отлично все понимала, – он сидит, согнувшись, в кресле, удрученный, опустив голову на руки, – как бы ожидая, что дочь утешит его.

– Да, да. Она утешит его. Продолжай.

– Он старик, он одряхлел от забот и работы. Это худой, истощенный, озабоченный седой старик. Я вижу – сейчас он унылый и подавленный, он сдался, он больше не борется. Но, Берта, раньше я много раз видела, как упорно он боролся, чтобы достигнуть одной заветной цели. И я чту его седины и благословляю его.

Слепая девушка отвернулась и, бросившись на колени перед отцом, прижала к груди его седую голову.

– Я прозрела. Прозрела! – вскричала она. – Долго я была

слепой, теперь глаза у меня открылись. Я никогда не знала его! Подумать только, ведь я могла бы умереть, не зная своего отца, а он так любит меня!

Волнение мешало Калебу говорить.

– Никакого красавца, – воскликнула слепая девушка, обнимая отца, – не могла бы я так горячо любить и лелеять, как тебя! Чем ты седее, чем дряхлее, тем дороже ты мне, отец! И пусть никто больше не говорит, что я слепая. Ни морщинки на его лице, ни волоса на его голове я не позабуду в своих благодарственных молитвах!

Калёб с трудом проговорил:

– Берта!

– И я в своей слепоте верила ему, – сказала девушка, лаская его со слезами глубокой любви, – и я считала, что он совсем другой! И, живя с ним, с тем, кто всегда так заботился обо мне, живя с ним бок о бок день за днем, я и не подозревала об этом!

– Веселый, щеголеватый отец в синем пальто, – промолвил бедный Калёб, – он исчез, Берта!

– Ничто не исчезло! – возразила она. – Нет, дорогой отец! Все – здесь, в тебе. Отец, которого я так любила, отец, которого я любила недостаточно и никогда не знала, благодетель, которого я привыкла почитать и любить за участие его ко мне, – все они здесь, все слились в тебе. Ничто для меня не умерло. Душа того, что мне было дороже всего, – здесь, здесь, и у нее дряхлое лицо и седые волосы. А я уже не сле-

пая, отец!

Все внимание Крошки было поглощено отцом и дочерью, но теперь, взглянув на маленького косца на мавританском лугу, она увидела, что через несколько минут часы начнут бить и тотчас же стала какой-то нервной и возбужденной.

– Отец, – нерешительно проговорила Берта, – Мэри...

– Да, моя милая. – ответил Калэб, – вот она.

– А она не изменилась? Ты никогда не говорил мне неправды о ней?

– Боюсь, что я сделал бы это, милая, – ответил Калэб, – если бы мог изобразить ее лучше, чем она есть. Но если я менял ее, то, наверно, лишь к худшему. Ничем ее нельзя украсить, Берта.

Слепая девушка задала этот вопрос, уверенная в ответе, а все-таки приятно было смотреть на ее восторг и торжество, когда она снова обняла Крошку.

– Однако, милая, могут произойти перемены, о которых ты и не думаешь, – сказала Крошка. – Я хочу сказать, перемены к лучшему, перемены, которые принесут много радости кое-кому из нас. И если это случится, ты не будешь слишком поражена и потрясена? Кажется, слышен стук колес на дороге? У тебя хороший слух, Берта. Это едут по дороге?

– Да. Кто-то едет очень быстро.

– Я... я... я знаю, что у тебя хороший слух, – сказала Крошка, прижимая руку к сердцу и говоря как можно быстрее, чтобы скрыть от всех, как оно трепещет, – я часто это

замечала. А вчера вечером ты так быстро распознала чужие шаги! Но почему ты сказала, – я это очень хорошо помню, Берта, – почему ты сказала: «Чьи это шаги?», и почему ты обратила на них особое внимание – я не знаю. Впрочем, как я уже говорила, произошли большие перемены, и лучше тебе подготовиться ко всяким неожиданностям.

Калёб недоумевал, что все это значит, понимая, что Крошка обращается не только к его дочери, но и к нему. Он с удивлением увидел, как она заволновалась и забеспокоилась так, что у нее перехватило дыхание и даже схватилась за стул, чтобы не упасть.

– В самом деле, это стук колес! – задыхалась она. – Все ближе! Ближе, вот уже совсем близко! А теперь, слышишь, остановились у садовой калитки! А теперь, слышишь – шаги за дверью, те же самые шаги, Берта, ведь правда? А теперь...

Она громко вскрикнула в неудержимой радости и, подбежав к Калёбу, закрыла ему глаза руками, а в это время какой-то молодой человек ворвался в комнату и, подбросив в воздух свою шляпу, кинулся к ним.

– Все кончилось? – вскричала Крошка.

– Да!

– Хорошо кончилось?

– Да!

– Вам знаком этот голос, милый Калёб? Вы слышали его раньше? – кричала Крошка.

– Если бы мой сын не погиб в золотой Южной Америке...

– произнес Калев, весь дрожа.

– Он жив! – вскрикнула Крошка, отняв руки от глаз старика и ликующе хлопнув в ладоши. – Взгляните на него! Видите, он стоит перед вами, здоровый и сильный! Ваш милый, родной сын! Твой милый живой, любящий брат, Берта!

Честь и хвала маленькой женщине за ее ликование! Честь и хвала ей за ее слезы и смех, с которыми она смотрела на всех троих, когда они заключили друг друга в объятия! Честь и хвала той сердечности, с какой она бросилась навстречу загорелому моряку с темными волосами, падающими на плечи и не отвернулась от него, а непринужденно позволила ему поцеловать ее в розовые губки и прижать к бьющемуся сердцу!

Кукушке тоже честь и хвала – почему бы и нет! – за то, что она выскочила из-за дверцы мавританского дворца, словно какой-нибудь громила, и двенадцать раз икнула перед всей компанией, как будто опьянела от радости.

Возчик, войдя в комнату, даже отшатнулся. И немудрено: ведь он нежданно-негаданно попал в такое веселое общество!

– Смотрите, Джон! – в восторге говорил Калев. – Смотрите сюда! Мой родной мальчик из золотой Южной Америки! Мой родной сын! Тот, кого вы сами снарядили в путь и проводили! Тот, кому вы всегда были таким другом!

Возчик подошел было к моряку, чтобы пожать ему руку, но попятился назад, потому что некоторые черты его лица

напоминали глухого старика в повозке.

– Эдуард! Так это был ты?

– Теперь скажи ему все! – кричала Крошка. – Скажи ему все, Эдуард! И не щади меня в его глазах, потому что я сама никогда не буду щадить себя.

– Это был я, – сказал Эдуард.

– И ты мог пробраться переодетым в дом своего старого друга? – продолжал возчик. – Когда-то я знал одного чисто-сердечного юношу – как давно, Кaleb, мы услышали о его смерти и уверились в том, что он погиб? – Но тот никогда бы не сделал этого.

– А у меня был когда-то великодушный друг, скорее отец, чем друг, – сказал Эдуард, – но он не стал бы, не выслушав, судить меня, да и всякого другого человека. Это был ты. И я уверен, что теперь ты меня выслушаешь.

Возчик бросил смущенный взгляд на Крошку, которая все еще держалась вдали от него, и ответил:

– Что ж, это справедливо. Я выслушаю тебя.

– Так ты должен знать, что, когда я уехал отсюда еще мальчиком, – начал Эдуард, – я был влюблен и мне отвечали взаимностью. Она была совсем молоденькая девушка, и, быть может, скажешь ты, она не разбиралась в своих чувствах. Но я-то в своих разбирался, и я страстно любил ее.

– Любил! – воскликнул возчик. – Ты!

– Да, любил, – ответил юноша. – И она любила меня. Я всегда так думал, а теперь я в этом убедился.

– Боже мой! – проговорил возчик. – Это тяжелей всего!

– Я был ей верен, – сказал Эдуард, – и когда возвращался, окрыленный надеждами, после многих трудов и опасностей, чтобы снова обручиться с ней, я за двадцать миль отсюда услышал о том, что она изменила мне, забыла меня и отдала себя другому, более богатому человеку. Я не собирался ее упрекать, но мне хотелось увидеть ее и узнать наверняка, правда ли это. Я надеялся, что, может, ее принудили к этому, против ее воли и наперекор ее чувству. Это было бы плохим утешением, но все-таки некоторым утешением. Так я полагал, и вот я приехал. Я хотел узнать правду, чистую правду, увидеть все своими глазами, чтобы судить обо всем беспристрастно, не оказывая влияния на свою любимую (если только я мог иметь на нее влияние) своим присутствием. Поэтому я изменил свою наружность – ты знаешь как, и стал ждать на дороге – ты знаешь где. Ты не узнал меня и она тоже, – он кивнул на Крошку, – пока я не шепнул ей кое-чего на ухо здесь, у этого очага, и тогда она чуть не выдала меня.

– Но когда она узнала, что Эдуард жив и вернулся, – всхлипнула Крошка, которой во время этого рассказа не терпелось высказать все, что было у нее на душе, – когда она узнала о том, что он собирается делать, она посоветовала ему непременно сохранить тайну, потому что его старый друг, Джон Пирибингл, слишком откровенный человек и слишком неуклюжий, когда приходится изворачиваться, да он и во всем-то неуклюжий, – добавила Крошка, смеясь и плача, –

и потому не сумеет держать язык за зубами. И когда она, то есть я, Джон, – всхлипывая, проговорила маленькая женщина, – сообщила ему все и рассказала о том, что его любимая считала его умершим, а мать в конце концов уговорила ее согласиться на замужество – ведь глупенькая милая старушка считала этот брак очень выгодным, – и когда она, то есть опять я, Джон, сказала ему, что они еще не поженились (но очень скоро поженятся) и что если это случится, это будет жертвой с ее стороны, потому что она совсем не любит своего жениха, и когда он, Эдуард, чуть не обезумел от радости, услышав это, тогда она, то есть опять я, сказала, что будет посредницей между ними, как это часто бывало в прежние годы, Джон, и расспросит его любимую и сама убедится, что она, то есть опять я, Джон, говорила и думала истинную правду. И это оказалось правдой, Джон! И они встретились, Джон! И они повенчались, Джон, час назад. А вот и новобрачная! А Грубб и Теклтон пусть умрет холостым! А я так счастлива, Мэй, благослови тебя бог!

Она всегда была неотразимой маленькой женщиной, – если только это сведение относится к делу, – но устоять против нее теперь, когда она так ликовала, было совершенно невозможно. Никто не слыхивал таких ласковых и очаровательных поздравлений, какими она осыпала себя и новобрачную.

Все это время честный возчик стоял молча, в смятении чувств. Теперь он бросился к жене, но Крошка протянула руку, чтобы остановить его, и снова отступила на шаг.

– Нет, Джон. Нет! Выслушай все! Не люби меня, Джон, пока не услышишь всего, что я хочу тебе сказать. Нехорошо было что-то скрывать от тебя, Джон. Я очень в этом раскаиваюсь. Я не думала, что это плохо, пока вчера вечером не пришла посидеть рядом с тобой на скамеечке. Но когда я узнала по твоему лицу, что ты видел, как я ходила по галерее с Эдуардом, когда я догадалась о твоих мыслях, я поняла, что поступила легкомысленно и плохо. Но, милый Джон, как ты мог, как ты мог это подумать!

Маленькая, как она опять разрыдалась! Джон Пирибингл хотел было ее обнять. Но нет, этого она не позволила.

– Нет, Джон, погоди, не люби меня еще немножко! Теперь уже недолго! Если меня огорчила весть об этом браке, милый, то огорчила потому, что я помнила Мэй и Эдуарда в то время, когда они были такими молодыми и влюбленными, и знала, что на сердце у нее не Теклтон. Теперь ты этому веришь? Ведь правда, Джон?

Джон снова хотел было броситься к ней, но она снова остановила его:

– Нет, пожалуйста, Джон, стой там! Когда я подсмеиваюсь над тобой, Джон, а это иногда бывает, и называю тебя увальнем, и милым старым медведем, и по-всякому в этом роде, это потому, что я люблю тебя, Джон, так люблю, и мне так приятно, что ты именно такой, и я не хотела бы, чтобы ты хоть капельку изменился, даже если бы тебя за это завтра же сделали королем.

– Ура-а! – во все горло заорал Калед. – Правильно!

– И когда я говорю о пожилых и степенных людях, Джон, и делаю вид, будто мы скучная пара и живем по-будничному, это только потому, что я еще совсем глупенькая, Джон, и мне иногда хочется поиграть с малышом в почтенную мать семейства и прикинуться, будто я не такая, какая есть.

Она заметила, что муж приближается к ней, и снова остановила его. Но чуть не опоздала.

– Нет, не люби меня еще минутку или две, пожалуйста, Джон! Я оставила напоследок то, о чем мне больше всего хочется сказать тебе. Милый мой, добрый, великодушный Джон! Когда мы на днях вечером говорили о свертке, я чуть было не сказала, что вначале я любила тебя не так нежно, как теперь. Когда я впервые вошла в твой дом, я побаивалась, что не смогу любить тебя так, как надеялась, – ведь я была еще такая молодая, Джон! Но, милый Джон, с каждым днем, с каждым часом я люблю тебя все больше и больше. И если бы я смогла полюбить тебя больше, чем люблю, это случилось бы сегодня утром, после того как я услышала твои благородные слова. Но я не могу! Весь тот запас любви, который во мне был (а он был очень большой, Джон), я давным-давно отдала тебе, как ты этого заслуживаешь, и мне нечего больше дать. А теперь, милый мой муж, прижми меня к своему сердцу по-прежнему! Мой дом здесь, Джон, и ты никогда, никогда не смей прогонять меня!

Попробуйте посмотреть, как любая очаровательная ма-

ленькая женщина падает в объятия другого человека; это не доставит вам того наслаждения, какое вы получили бы, случись вам видеть, как Крошка бросилась на шею возчику. Такого воплощения полной, чистейшей, одухотворенной искренности, каким была Крошка в эту минуту, вы, ручаясь, ни разу не видели за всю свою жизнь.

Не сомневайтесь, что возчик был вне себя от упоения, и не сомневайтесь, что Крошка – также, и не сомневайтесь, что все они ликовали, в том числе мисс Слоубой, которая плакала в три ручья от радости и, желая включить своего юного питомца в общий обмен поздравлениями, подавала малыша всем по очереди, точно он был круговой чашей.

Но вот за дверью снова послышался стук колес, и кто-то крикнул, что это Грубб и Теклтон. Сей достойный джентльмен вскоре появился, разгоряченный и взволнованный.

– Что за черт, Джон Пирибингл! – проговорил Теклтон. – Произошло какое-то недоразумение. Я условился с будущей миссис Теклтон, что мы встретимся с нею в церкви, но, по моему, я только что видел ее на дороге, – она направлялась сюда. Ах, вот и она! Простите, сэръ, не имею удовольствия быть с вами знакомым, но, если можете, окажите мне честь отпустить эту девицу – сегодня утром она должна поспеть на довольно важное деловое свидание.

– Но я не могу отпустить ее, – отозвался Эдуард. – Просто не в силах.

– Что это значит, бездельник? – проговорил Теклтон.

– Это значит, что я прощаю вашу раздражительность, – ответил тот с улыбкой, – нынче утром я плохо слышу резкие слова, и не удивительно, если вспомнить, что еще вчера я был совсем глухой!

Как вздрогнул Теклтон! И какой взгляд он бросил на Эдуарда!

– Мне очень жаль, сэр, – сказал Эдуард, поднимая левую руку Мэй и отгибая на ней средний палец, – что эта девушка не может сопровождать вас в церковь; она уже побывала там сегодня утром, и потому вы, может быть, извините ее.

Теклтон пристально поглядел на средний палец Мэй, затем достал из своего жилетного кармана серебряную бумажку, в которую, по-видимому, было завернуто кольцо.

– Мисс Слоубой, – сказал Теклтон, – будьте так добры, бросьте это в огонь! Благодарю вас.

– Моя жена уже была помолвлена, давно помолвлена, и, уверяю вас, только это помешало ей сдержать обещание, данное вам, – заметил Эдуард.

– Мистер Теклтон окажет мне справедливость и признает, что я чистосердечно рассказала ему о своей помолвке и много раз говорила, что никогда не забуду о ней, – промолвила Мэй, слегка зардевшись.

– О, конечно! – сказал Теклтон. – Безусловно! Правильно. Истинная правда. Миссис Эдуард Пламмер, так, кажется?

– Так ее зовут теперь, – ответил новобрачный.

– Понятно! Пожалуй, я не узнал бы вас, сэр, – сказал Тек-

тлон, пристально всмотревшись в его лицо и отвесив глубокий поклон. – Желаю вам счастья, сэр!

– Благодарю вас.

– Миссис Пирибингл, – проговорил Теклтон, внезапно повернувшись к Крошке, которая стояла рядом с мужем, – прошу вас извинить меня. Вы не очень любезно поступили со мной, но я все-таки прошу у вас извинения. Вы лучше, чем я о вас думал. Джон Пирибингл, прошу меня извинить. Вы понимаете меня, этого довольно. Все в порядке, леди и джентльмены, и все прекрасно. Прощайте!

Этими словами он закончил свою речь и уехал, но сначала немного задержался перед домом, снял цветы и банты с головы своей лошади и ткнул это животное под ребра, показывая этим, что в приготовлениях к свадьбе что-то разладилось.

Конечно, теперь все поняли, что священный долг каждого – так отпраздновать этот день, чтобы он навсегда остался в календаре Пирибинглов праздничным и торжественным днем. И вот Крошка принялась готовить такое угощение, которое осветило бы немеркнувшей славой и ее дом и всех заинтересованных лиц, и сразу же погрузилась в муку по самые пухленькие локотки, а возчик скоро весь побелел, потому что она останавливала его всякий раз, как он проходил мимо, чтобы его поцеловать. А этот славный малый перемывал овощи, чистил репу, разбивал тарелки, опрокидывал в огонь котелки с водой и вообще всячески помогал по хозяй-

ству, в то время как две стряпухи, так спешно вызванные от соседей, как будто дело шло о жизни и смерти, сталкивались друг с другом во всех дверях и во всех углах, а все и каждый везде и всюду натыкались на Тилли Слоубой и малыша. Тилли на этот раз превзошла самое себя: она попевала всюду, вызывая всеобщее восхищение. В двадцать пять минут третьего она была камнем преткновения в коридоре; ровно в половине третьего – ловушкой на кухне и в тридцать пять минут третьего – западней на чердаке. Голова малыша служила, так сказать, пробным камнем для всевозможных предметов любого происхождения – животного, растительного и минерального. Не было в тот день ни одной вещи, которая рано или поздно не вступила бы в тесное соприкосновение с этой головенкой.

Затем отправили целую экспедицию с заданием разыскать миссис Филдинг, принести слезное покаяние этой благородной даме и привести ее, если нужно, силой, заставив развеяться и простить всех. И когда экспедиция обнаружила ее местопребывание, старушка ни о чем не захотела слышать, но произнесла (бесчисленное множество раз): «И я дожила до такого дня!», а затем от нее нельзя было ничего добиться, кроме слов: «Теперь несите меня в могилу», что звучало довольно нелепо, так как старушка еще не умерла, да и не собиралась умирать. Немного погодя она погрузилась в состояние зловещего спокойствия и заметила, что еще в то время, как произошло роковое стечение обстоятельств в свя-

зи с торговлей индиго, она предвидела для себя в будущем всякого рода оскорбления и поношения и теперь очень рада, что оказалась права, и просит всех не беспокоиться (ибо кто она такая? О господи! Никто!), но забыть о ней начисто и жить по-своему, без нее. От саркастической горечи она перешла к гневу и высказала следующее замечательное изречение: «Червяк – и тот не стерпит, коль на него наступишь»⁷; а после этого предалась кротким сожалениям и заявила, что, если бы ей доверились раньше, она уж сумела бы что-нибудь придумать! Воспользовавшись этим переломом в ее настроении, участники экспедиции обняли ее, и вот старушка уже надела перчатки и направилась к дому Джона Пирибингла с безукоризненно приличным видом и свертком под мышкой, в котором находился парадный чепец, почти столь же высокий, как митра, и не менее твердый.

Потом подошло уже время родителям Крошки приехать, а их все не было, и все стали бояться, не случилось ли чего, и то и дело посматривали на дорогу, не покажется ли там их маленький кабриолет, причем миссис Филдинг неизменно смотрела в противоположную сторону, и когда ей это говорили, она отвечала, что, кажется, имеет право смотреть, куда ей вздумается. Наконец они приехали! Это была толстененькая парочка, уютная и милая, как и все семейство Крошки. При-

⁷ «Червяк – и тот не стерпит, коль на него наступишь»... – вошедшая в поговорку строка из «Генриха VI» Шекспира: «И самый ничтожный червяк возмутится, если на него наступить».

ятно было смотреть на Крошку с матерью, когда они сидели рядом. Они были так похожи друг на друга!

Потом Крошкина мать возобновила знакомство с матерью Мэй. Мать Мэй всегда стояла на том, что она благородная, а мать Крошки ни на чем не стояла, разве только на своих проворных ножках. А старый Крошка (будем так называть Крошкиного отца, я забыл его настоящее имя, но ничего!) с самого начала повел себя несколько вольно; без всяких предисловий пожал почтенной даме руку; по-видимому, не нашел ничего особенного в ее чепце – кисея и крахмал, только и всего; не выразил никакого благоговения перед торговлей индиго, а сказал просто, что теперь уж с этим ничего не поделаешь, поэтому миссис Филдинг, подводя итог своим впечатлениям, заявила, что он, правда, хороший человек... но грубоват, милая моя.

Ни за какие деньги не согласился бы я упустить случай увидеть Крошку в роли хозяйки, председательствующей за столом в своем подвенечном платье – да пребудет мое благословение на ее прелестном личике! О нет, ни за что бы не согласился не видеть ее! А также славного возчика, такого веселого и румяного, сидящего на другом конце стола; а также загорелого, пышащего здоровьем моряка и его красавицу жену. А также любого из присутствующих. Пропустить этот пир – значило бы пропустить самый веселый и сытный обед, какой только может съесть человек; а не пить из тех полных чаш, из которых пирующие пили, праздную свадьбу,

было бы огромнейшим лишением.

После обеда Калед спел песню о пенном кубке. И как верно то, что я жив и надеюсь прожить еще год-два, так верно и то, что на сей раз он спел ее всю до самого конца!

И как только он допел последний куплет, произошло совершенно неожиданное событие.

Послышался стук в дверь, и в комнату, пошатываясь, ввалился какой-то человек, не сказав ни «позвольте войти», ни «можно войти?». Он нес что-то тяжелое на голове. Положив свою ношу на самую середину стола, между орехами и яблоками, он сказал:

– Мистер Теклтон велел вам кланяться, и так как ему самому нечего делать с этим пирогом, то, может быть, вы его скушаете.

С этими словами он ушел.

Вы, конечно, представляете себе, что все общество было несколько изумлено. Миссис Филдинг, женщина необычайно проникательная, заявила, что пирог, наверное, отравлен, и рассказала историю об одном пироге, от которого целая школа для молодых девиц вся посинела, но сотрапезники хором разубедили ее, и Мэй торжественно разрешила пирог среди всеобщего ликования.

Никто еще, кажется, не успел отведать его, как вдруг снова раздался стук в дверь и вошел тот же самый человек с большим свертком в оберточной бумаге под мышкой.

– Мистер Теклтон просил передать привет и прислал кое-

какие игрушки для мальчика. Они нестрашные.

Сделав это заявление, он снова удалился.

Общество вряд ли нашло бы слова, чтобы выразить свое изумление, даже если бы у него хватило времени их подыскать. Но времени не хватило – едва посыльный успел закрыть за собой дверь, как снова послышался стук и вошел сам Теклтон.

– Миссис Пирибингл! – проговорил фабрикант игрушек, сняв шляпу. – Прошу вас меня извинить. Прошу еще усерднее, чем сегодня утром. У меня было время подумать об этом. Джон Пирибингл! Я человек жесткий, но я не мог не смягчиться, когда очутился лицом к лицу с таким человеком, как вы, Калев! Вчера вечером эта маленькая нянька, сама того не ведая, бросила мне намек, который я понял только теперь. Я краснею при мысли о том, как легко я мог бы привязать к себе вас и вашу дочь и каким я был презренным идиотом, когда считал идиоткой ее! Друзья, сегодня в доме моем очень пусто. У меня нет даже сверчка за очагом. Я всех их пораспугал. Будьте добры, позвольте мне присоединиться к вашему веселому обществу!

Через пять минут он уже чувствовал себя как дома. В жизни вы не видывали такого человека! Да что же он проделывал над собой всю свою жизнь, если сам до сей поры не знал, как он способен веселиться? Или что сделали с ним феи, если он так изменился?

– Джон, ты не отошлешь меня нынче вечером к родите-

лям, нет? – прошептала Крошка.

А ведь он чуть не сделал этого!

Недоставало только одного живого существа, чтобы общество оказалось в полном составе, и вот это существо появилось во мгновение ока и, терзаемое жестокой жаждой, забегало по комнате, напрасно стараясь просунуть голову в узкий кувшин. Боксер сопровождал повозку на всем ее пути до места назначения, но был очень огорчен отсутствием своего хозяина и обуреваем духом непокорства его заместителю. Послonyaвшись по конюшне, где он тщетно подстрекал старую лошадь взбунтоваться и самовольно вернуться домой, он проник в трактир и улегся перед огнем. Но, внезапно придя к убеждению, что заместитель Джона – обманщик и его нужно покинуть, снова вскочил, повернулся и прибежал домой.

Вечером устроили танцы. Я, пожалуй, только упомянул бы о них, не описывая их подробно, если бы танцы эти не были столь своеобразными и необыкновенными. Они начались довольно странным образом. Вот как.

Эдуард, молодой моряк, такой славный жизнерадостный малый, рассказывал всякие чудеса насчет попугаев, рудников, мексиканцев и золотоносного песка, как вдруг вскочил с места и предложил потанцевать – ведь арфа Берты была здесь, а девушка так хорошо играла на ней, что редко удаётся услышать такую игру. Крошка (ах, маленькая притворщица!) сказала, что для нее время танцев прошло, но мне ка-

жется, что она сказала это потому, что возчик сидел и курил свою трубку, а ей больше всего хотелось сидеть возле него. После этого миссис Филдинг уже ничего не оставалось, как только сказать, что и для нее пора танцев прошла; и все сказали то же самое, кроме Мэй; Мэй охотно согласилась.

И вот Мэй и Эдуард начали танцевать одни под громкие рукоплескания, а Берта играла самые веселые мелодии, какие только знала.

Так! Но, верьте не верьте, не успели они поплясать и пяти минут, как вдруг возчик бросил свою трубку, обнял Крошку за талию, выскочил на середину комнаты и, громко стуча сапогами, пустился в пляс, да такой, что прямо загляденье. Не успел Теклтон это увидеть, как промчался через всю комнату к миссис Филдинг, обнял ее за талию и тоже пустился в пляс. Не успел Крошка-отец это увидеть, как вскочил и весело потащил миссис Крошку в самую гущу танцоров и оказался первым среди них. Не успел Калев это увидеть, как схватил за руки Тилли Слоубой и тоже не ударил лицом в грязь; при этом мисс Слоубой была твердо уверена, что танцевать – это значит отчаянно нырять между другими парами и елико возможно чаще сталкиваться с ними.

Слушайте, как сверчок вторит музыке своим «стрек, стрек, стрек» и как гудит чайник!

Но что это? В то время как я радостно прислушиваюсь к ним и поворачиваюсь в сторону Крошки, чтобы бросить последний взгляд на это столь милое мне создание, она и все

остальные расплываются в воздухе, и я остаюсь один. Сверчок поет за очагом, на полу лежит сломанная игрушка... вот и все.